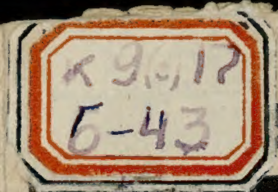
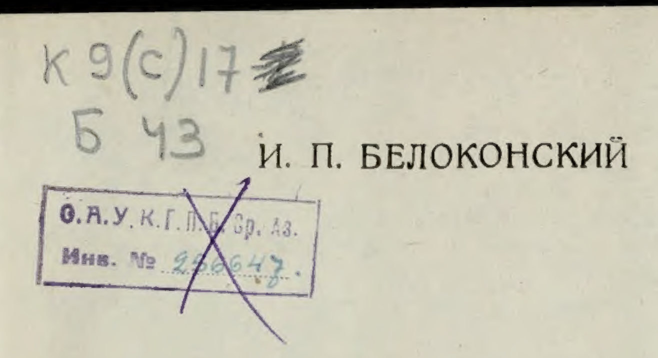


И. П. БЕЛОКОНСКИЙ

В ГОДЫ БЕСПРАВИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

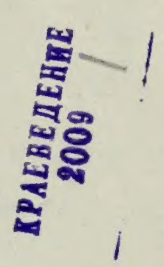

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН МОСКВА 1930



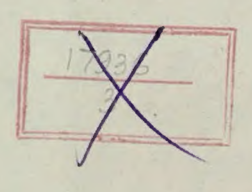
И. П. БЕЛОКОНСКИЙ

В ГОДЫ БЕСПРАВИЯ

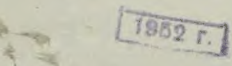
(ДАНЬ ВРЕМЕНИ. ЧАСТЬ II)



предисловие и редакция
М. М. КОНСТАНТИНОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва ★ 1930





7-я
типография Мосполиграфа
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Москва, Филипповский, 13.

Главлит № А—65.599
З. Т. 813 Тираж 4.000.

СтАт А5 148×210 мм 10 п. л.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наши читатели привыкли — и совершенно основательно — определять ценность произведений мемуарной литературы историко-революционного характера общественно-удельным весом их авторов и чаще всего той ролью, которую последние играли в революционных событиях.

Автор же предлагаемых воспоминаний, — известный в свое время земский деятель и литератор, — никогда не был активным участником нашего революционного движения. Арестованный по случайному поводу, в результате оговора, он подвергся административной высылке в Сибирь, затем по окончании срока ссылки вернулся в 1886 г. в Европейскую Россию и последующие годы состоял на земской службе, занимаясь одновременно литературной работой, освещая, главным образом, вопросы местного самоуправления в системе тогдашней бюрократии. Это, конечно, не значит, что он был чужд и далек тем политическим идеям и настроениям, которыми жили в то время определенные круги буржуазной интеллигенции, — но, как и большинство последней, он был в стороне от действительного потока революции, от движения трудовых революционных масс и исключительную роль в политических преобразованиях России приписывал убеждению, силе печатного и устного слова, народному просвещению. Таким образом, мы имеем дело с воспоминаниями не непосредственного активного участника революционной борьбы с самодержавием, а случайного для революционного движения и ссылки человека, хотя и весьма сочувственно к последним настроенного и враждебного тогдашнему самодержавно-бюрократическому порядку. — Одним словом, перед нами, — как это характерно и точно выражается современным для нас языком, — «революционный попутчик». В этом легко убедиться по рассказам и воспоминаниям самого И. П. Белоконского. Между прочим, он характеризует свое отношение к революционному движению с такой определенностью, которая не оставляет никакого сомнения насчет его «попутничества».

«Бросившись с юных дней,— говорит он,— в полые воды общественного движения (он даже не говорит, как видите, о революции! *М. К.*), я захватывался разными течениями и плыл, не отдавая себе долгое время отчета, куда я плыву и зачем. У меня не было никакой программы, которую бы я выполнял, я не принадлежал ни к какой партии, достижению целей которой содействовал». В этой безотчетной пассивности, беспрограммности и якобы беспартийности налицо все содержание попутничества вообще и попутничества нашего автора в частности.

Но если так,— если перед нами не активный участник революционного движения, а попутчик,— то какую ценность могут представлять для нас его воспоминания, и стоит ли их преподносить читателю, ищущему в мемуарной литературе детального освещения революционных событий их участниками и знакомства с бытовыми условиями революционной среды? Действительно,— в воспоминаниях И. П. Белоконского мы напрасно стали бы искать того, что относится непосредственно к изображению революционных событий, условий подпольной работы или тюремного быта политических. Ничего из перечисленного в предлагаемых воспоминаниях нет. Автор и не задавался целью описать то, чего он не видел, не переживал и чего он, может быть, даже не знал. Ценность его воспоминаний заключается в другом.

Воспоминания Белоконского относятся к 80—90-м годам прошлого столетия. Это был период наиболее глубокой и продолжительной общественно-политической реакции, последовавшей за бурным взлетом революционной волны конца 70-х годов. Начало 80-х годов—как-раз те годы, на которые выпадает пребывание И. П. Белоконского в ссылке —отмечено в политической области разгромом народовольческих организаций и полным крушением их предприятий, планов и надежд. Довольно широко развернувшееся в предыдущее десятилетие движение было раздавлено ожесточенными мерами правительства. Аресты и ссылка, тюрьма, каторга, избиения, убийства и виселица помогли царизму оправиться от некоторых ударов, нанесенных войной и революцией, и несколько укрепить свое положение. Этому укреплению содействовали и те реакционные настроения, которые овладевали тогда буржуазными и помещичьими слоями в связи с развившимся промышленным и аграрным кризисом.

Переживая тяжелые экономические затруднения, сопряженные с обострением классовой борьбы, и напуганные, с одной стороны, террором и с другой —все учащающимися стачками

рабочих и волнениями крестьян,— господствовавшие общественные слои искали,— и находили,— в правительственной власти надежную для себя опору и защиту. Правительственная власть вырастала в мощную, все подавляющую силу. Полиция и бюрократия явились наиболее характерным выражением этого роста и возвышения правительства над обществом.

Расправляясь с революционными организациями и одиночками, правительство шаг за шагом подчиняло своему надзору, регламентации и приказам все проявления общественной жизни. Не говоря уже об общем управлении и суде,— местное управление, пресса, народное образование, здравоохранение, научная деятельность — все было бюрократизировано, на всем лежала печать правительственного нажима и полицейского сыска.

Все общество было погружено в глубокую политическую дремоту. Даже буржуазная интеллигенция, еще так недавно говорившая революционно-демократическим языком и давшая примеры беззаветного героизма и теперь еще враждебная самодержавно-политическому режиму,— переживала глубокие разочарования, отходила «на вторые позиции» с проповедью мелких дел, культурничества, земского дела. Об этом безмерном упадке общественных настроений тогдашней интеллигенции с надрывом в сердце писал народовольческий Иеремия — П. Якубович (Мельшин), находившийся тогда на каторге:

> Смолк честный голос убежденья,
> Забылась муза мрачным сном,
> Позор и мерзость запустенья
> На месте, некогда святом...
> Разгул и пляска карнавала.
> Затерты славные стези,
> Потушен факел идеала,
> И знамя светлое—в грязи...

Общественную жизнь и настроения этих-то именно групп того времени и описывает в своих воспоминаниях И. П. Белоконский. В качестве земского деятеля и писателя, к тому же еще побывавшего в политической ссылке и ставшего близким значительному кругу участников революционного движения 70 — 80-х годов, автор настоящих воспоминаний приходил в соприкосновение с весьма обширными кругами деятелей того времени,— известнейшими писателями, учеными, политиками, бюрократией, провинциальными чиновниками, обывателями и т. п. И хотя перо И. П. Белоконского не отличается особенной остротой и живостью, изложение его не блещет яркостью красок и глубиной мысли, но перед читателем, которого автор умело и просто вводит в описываемую эпоху, раскрывается

целая галлерея людей и людишек мрачной александровской эпохи, цепляются одна за другую картины чиновничьего произвола и самодурства, обывательской растерянности и пошлости, бессилия и безыдейности интеллигенции. Вы видите, как вчерашние революционеры-интеллигенты, подобно щедринскому премудрому пескарю, ошпаренные ссылкой, вернувшись из последней, бедствуют или суетливо пристраиваются на хлебные места, все еще думая о «долге» народу и стараясь расплатиться по мелочам кое-какими благотворительными и прочими делами,— и как все их начинания наталкиваются на тупую и самодовольную обывательщину, с одной стороны, и на черствую бюрократию — с другой. Вы видите, как чиновничество снизу и доверху, от будочника до министра, с сознанием своего превосходства давит все проявления даже мелкой общественной инициативы, разрушает всякого рода чисто культурнические начинания.

Провинциальный и столичный обыватель-интеллигент, обыватель-чиновник, бюрократ и либерал земец, ученый и писатель — вот основные персонажи настоящих воспоминаний. Бесправие и произвол чиновничества, продажность и самодурство местной администрации, формальная земская оппозиция бюрократии, нравы провинциальных газетчиков, гонения на прессу и на разные виды жалкой общественности, безыдейность и растерянность интеллигенции,— вот о чем рассказывает наш автор.

По существу автор изображает, конечно, не революционный процесс, а его оборотную сторону, изнанку, — ту именно сторону, которую он и наблюдал непосредственно, будучи не активным участником революции, а сочувствующим, попутчиком. Знакомясь с историей революционного движения по научным трудам или мемуарам, мы обычно забываем об этой оборотной стороне, без которой, в сущности, революция представляется каким-то однобоким процессом, лишенным его естественного окружения, все равно враждебного так же, как и содействующего. Это особенно относится к таким периодам, еще мало выявленным в печати, недостаточно изученным и понятым, как вторая половина 80-х годов и 90-е годы. Воспоминания И. П. Белоконского тем и должны быть признаны ценными для читателя, что они обращают внимание интересующихся историей общественных течений, настроений и дел на эту именно оборотную сторону революции, и в известной степени восполняют существующий в этом отношении пробел. Мы имеем поэтому основания предполагать, что воспоминания И. П. Белоконского будут не без пользы и интереса прочитаны всяким вдумчивым читателем,

ищущим в мемуарах не просто увлекательного чтения, а изображения исторических событий, характеров, нравов и всего, с чем приходилось сталкиваться автору.

Все же при чтении этих воспоминаний нужно иметь в виду, что у автора их отсутствует критическое отношение историка к изображаемым им событиям и лицам и к своим собственным впечатлениям и оценкам. Он целиком стоит на своих прежних позициях попутчика теперь уже далеко ушедшего от нас периода революционного движения, продолжает на все описываемое им смотреть прежними глазами и видеть, как он видел в то время, и говорить языком того времени, несколько чуждым современному слуху.

Так, он не понимает сущности революции и потому не видит ни ее социальных корней, ни ее движущих сил. Он видит сущность революции в провозглашении политической свободы, равенства, скорее всего в устранении тяжелой полицейской опеки, проводимой царизмом, и преклоняется перед правовым строем европейских государств; а движущими силами, «солью земли русской», считает интеллигенцию, не подозревая даже ее классовой разнородности. Он не замечает того глубокого процесса преобразования социальных отношений, который совершался в описываемые им десятилетия в России, и тех проявлений революционной борьбы, которыми ознаменовалось это время. Как известно, в 80-х и 90-х годах происходило небывалое прежде разорение деревни, выражавшееся в обнищании массы крестьянства и пролетаризации мелкого товаропроизводителя, за счет которого обогащалось немногочисленное кулачество, «чумазый», землевладец и капиталист. Этот процесс глубокого классового расслоения деревни и пролетаризации крестьянства создавал большую тягу в города и другие промышленные центры, увеличивая кадры безработных и ухудшая положение занятого промышленного пролетариата. Борьба последнего с предпринимателем за нормальный рабочий день, заработную плату и лучшие условия труда все обострялась. Рабочие стачки вспыхивали и раньше, но с начала 80-х годов они становились весьма заметным явлением.

Вспомнить хотя бы наиболее значительные из них по своим размерам и организованности. В 1882 г. в Белостоке на фабрике Суражских, в Борисоглебске — в железнодорожных мастерских, в Ревеле — у ткачей, в Нарве — на Кренгольмской мануфактуре; в 1883 г. на Вознесенской мануфактуре, на Жирардовской мануфактуре; в 1887 г. в Москве в мастерских Николаевской железной дороги, на табачной фабрике Бостанжогло, на меха-

ническом заводе; в январе 1885 г. крупные беспорядки в Орехово-Зуеве и др. Далее из года в год число стачек увеличивается, и они становятся все более напряженными и организованными. Одновременно в те же годы один за другим возникают и политические кружки и крупные рабочие организации, подготовившие к концу 90-х годов образование РСДРП. Неспокойно было и в деревне. Но автор воспоминаний видит не столько деревенское разорение, как глубокий процесс классового расслоения последней, — сколько деревенскую отсталость, невежество и мрак, не понимая при этом, в чем кроются их истинные причины.

«Деревенский мрак, — говорит он, — я и теперь объяснял тем, чем и прежде в течение всех лет моей сознательной деятельности, как до ссылки, в качестве сельского учителя, так и после ссылки, в качестве статистика, — гнетущим строем абсолютизма. Мне думалось, что если бы земство завоевало широкие политические права, если бы оно явилось фундаментом, если не для республиканского строя, то хотя бы для парламентаризма с ответственным министерством, со всеми свободами, — то это была бы уже брешь для плодотворной работы в народной среде». Болезненный процесс капиталистической экспроприации мелкого самостоятельного производителя деревни и связанное с этим обнищание и пролетаризацию лечить плодотворной культурной деятельностью в «народной среде» и ответственным министерством, — как это характерно для представителя буржуазной интеллигенции 90-х годов, для проповедников малых дел «для малых сих»! И причины-то революции он видит не в классовых антагонизмах капиталистического общества, а в неуступчивом отношении царизма к либеральному земству. По его мнению, Николай II своим ответом земцам о «бессмысленных мечтаниях» подрубил сук, на котором стоял самодержавный трон. Стоило только царю кое-что уступить земцам, — и дело в шляпе: никакой революции уже не могло бы быть; а так как этого не случилось и царь отверг земцев, то «подножие было выдернуто из-под престола, и последний очутился на воздухе, чтобы рано или поздно полететь в бездну». Такова либерально-земская концепция русской революции.

То же непонимание политической обстановки описываемых событий нужно отметить и в отношении характеристики лиц, с которыми судьба сталкивала автора этих воспоминаний. Все общественные деятели, литераторы и ученые зарисованы им мягкими и светлыми тонами; бюрократы, конечно, — темными и резкими. Но и те и другие — освещены из одного обыва-

тельского источника,—вследствие чего даже самые колоритные фигуры потонули в сероватом однообразии оценки их не по занимаемому ими положению и политическому значению, а вообще, как «хороших» или «дурных» людей. Взять, к примеру, известного графа Гейдена. Он выходит из-под пера И. П. Белоконского добрым стариком, гуманным, образованным человеком, немного ворчливым по отношению к стоящим у центра управления и вызывающим некоторые симпатии у неразборчивого читателя. А посмотрите, как его характеризует В. И. Ленин по поводу некролога Гейдена в «Товарище»:

«Гейден был человек образованный, культурный, гуманный, терпимый,—захлебываются либеральные и демократические слюнтяи, воображая себя возвысившимися над всякой «партийностью», до «общечеловеческой» точки зрения.

Ошибаетесь, почтеннейшие. Эта точка зрения не общечеловеческая, а общехолопская.

Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам. Вот вы именно такие хамы, господа из «Товарища». Вы с омерзительным благодушием умиляетесь тем, что контрреволюционный помещик, поддерживавший контрреволюционное правительство, был образованный и гуманный человек. Вы не понимаете того, что, вместо того, чтобы превращать раба в революционера, вы превращаете рабов в холопов.

— Гейден был убежденный конституционалист! — умиляетесь вы. Вы лжете, или вы уже совершенно одурачены Гейденами,—ибо не подлежит сомнению, что для контрреволюционного помещика конституция есть именно севрюжина с хреном, есть вид наибольшего усовершенствования приемов ограбления и подчинения мужика и всей народной массы.

— Гейден был человек образованный, — умиляются наши демократы. Да... образованный контрреволюционный помещик умел тонко и хитро защищать интересы своего класса, искусно прикрывал флером благородных слов и внешнего джентльменства корыстные стремления и хищные аппетиты крепостников. Все свое «образование» Гейден и ему подобные принесли на алтарь служения помещичьим интересам». (Соч. Ленина, т. VIII).

Достаточно этих выдержек, чтобы убедиться, насколько характеристики, даваемые И. П. Белоконским, смазывают политическую суть описываемых им лиц.

Но ни отмеченная выше либерально-земская концепция русской революции, ни аполитичность характеристики видных деятелей александровской эпохи, ни прочие недостатки, о которых говорилось выше, относящиеся, главным образом, не к воспоминаниям, а к неудачным попыткам некоторых обобщений автора, не помешают читателю выделить из нее все фактически ценное, что дает живое представление об одном из наименее изученных, но весьма интересных перевалов между двумя революциями конца 70-х годов XIX в. и начала XX в. И даже ненаучные, крайне ошибочные, как показало все позднейшее развитие России, суждения и взгляды автора воспоминаний могут послужить лишь материалом для характеристики тех слоев, к которым он принадлежал, и тех воззрений, которые господствовали в тогдашних буржуазно-интеллигентских кругах, им же описанных в этих воспоминаниях.

С этими, по необходимости краткими и лишь в общих чертах набросанными замечаниями, которые по нашему мнению помогли бы читателю правильнее подойти к изображаемым здесь событиям и по достоинству оценить эти воспоминания, мы и считаем возможным предложить их вниманию читателей.

М. Константинов.

ОТ АВТОРА

Кто жил для своего времени,
Тот жил для всех времен.
Гете.

В 1885 г., в Киеве, у только-что возвратившейся из Сибири жены моей был произведен обыск, результаты которого привели в восторг киевских жандармов. В самом деле, была обнаружена громадная корзина, битком набитая ценным для них материалом: письмами, фотографиями, разными тетрадками, записями и т. д. Конечно, корзина была увезена в жандармское управление для анализа редкой находки, несомненно, изобилующей доказательствами преступлений государственного характера. Но через самое короткое, сравнительно, время жена вызвана была знаменитым киевским жандармом Новицким, с которым у нее произошел такой, приблизительно, диалог:

Новицкий. Зачем вы сохраняете старый хлам в корзине?

Жена. Мой муж—писатель и хранит все это для воспоминаний.

Новицкий (изумленно). Для воспоминаний?! Да неужели вы думаете дожить до того времени, когда ваш муж получит право на такие воспоминания?

Жена. Конечно!

Новицкий. Большая наивность!

Жена. Не больше, чем ваша — думать, что вы вечно будете господствовать в России.

По правде сказать, мы были уверены, что Новицкий был прав, и у нас явилась даже мысль уничтожить корзину. Однако в конце-концов решено было перевезти эту тяжелую ношу в Орел. Здесь три года она благополучно лежала на чердаке, и в 1889 г. орловские жандармы при обыске опять обнаружили корзину и опять, как и киевские, с ликованием увезли ее в управление. Но, как неглупый человек, Новицкий на основании самого поверхностного взгляда решил, что для него корзина, в смысле карьеры, ничего не сделает. Орловский же жандарм Дудкин, умом не отличавшийся, более месяца просматривал и «читал» письма. Не выискав ничего подходящего к данному моменту, он вызвал мою жену (я был арестован) и с негодованием заявил:

— Вы держите никуда ненужное старье, заставляя нас напрасно работать (?!).

Жена ответила, что менее всего мы желаем отягощать жандармов «напрасною работою», а потому она вовсе не считает себя виновною: «Не надо было вам брать это, по вашему мнению, «старье».

— Мы обязаны это делать!.. А если вы желаете, чтобы его от вас не отбирали, пошейте мешечки, разложите их в мешечки, заклейте их сургучом и приложите именную печать.

— И вы гарантируете неприкосновенность их?

— Я лишь за себя отвечаю.

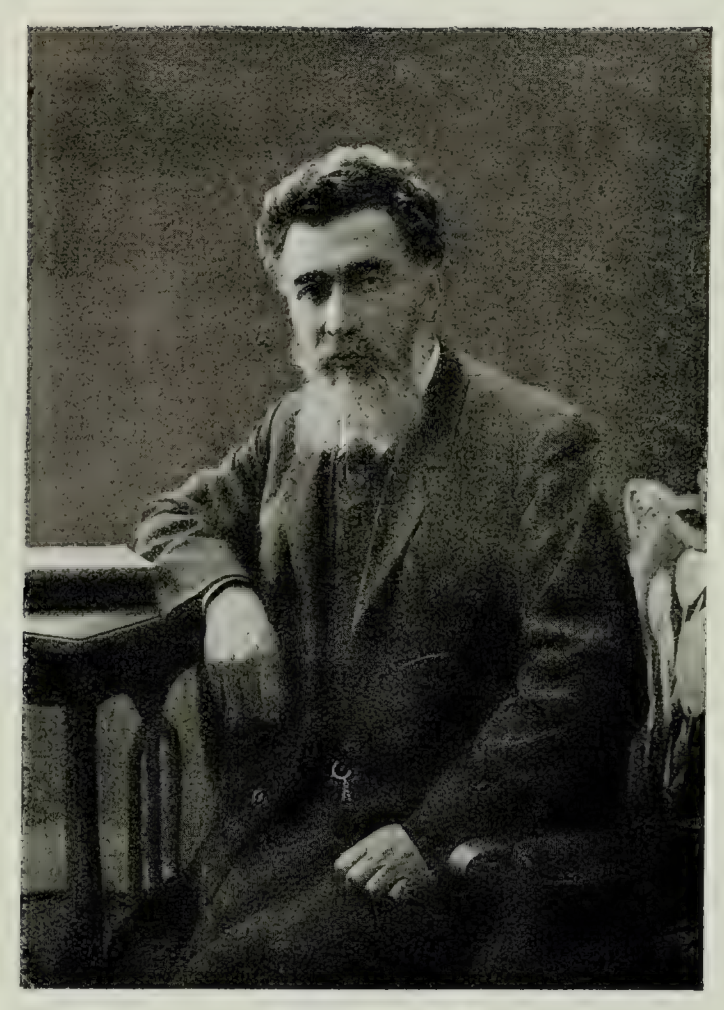
Но все же мы послушали совета Дудкина: пошили мешечки и беспорядочно разложили в них наши материалы. Дело в том, что Новицкий, не читая, возвратил их нам в порядке, а орловский полковник «читал» не только лично, но предложил заняться этим и своему адъютанту, даже... унтер-офицерам! И все чтецы бросали прямо в корзину развернутые письма, тетради и вообще всякие рукописи, при чем некоторые письма разрывали или соединяли части корреспонденций разных авторов, а часть фотографических снимков, особенно красивых женщин, просто, повидимому, похитили.

В таком виде корзина опять отправлена была на чердак.

Прошло ровно 20 лет до 1905 года, когда явилась возможность из пыли темного чердака вытащить корзину и приступить к пользованию ее содержимым.

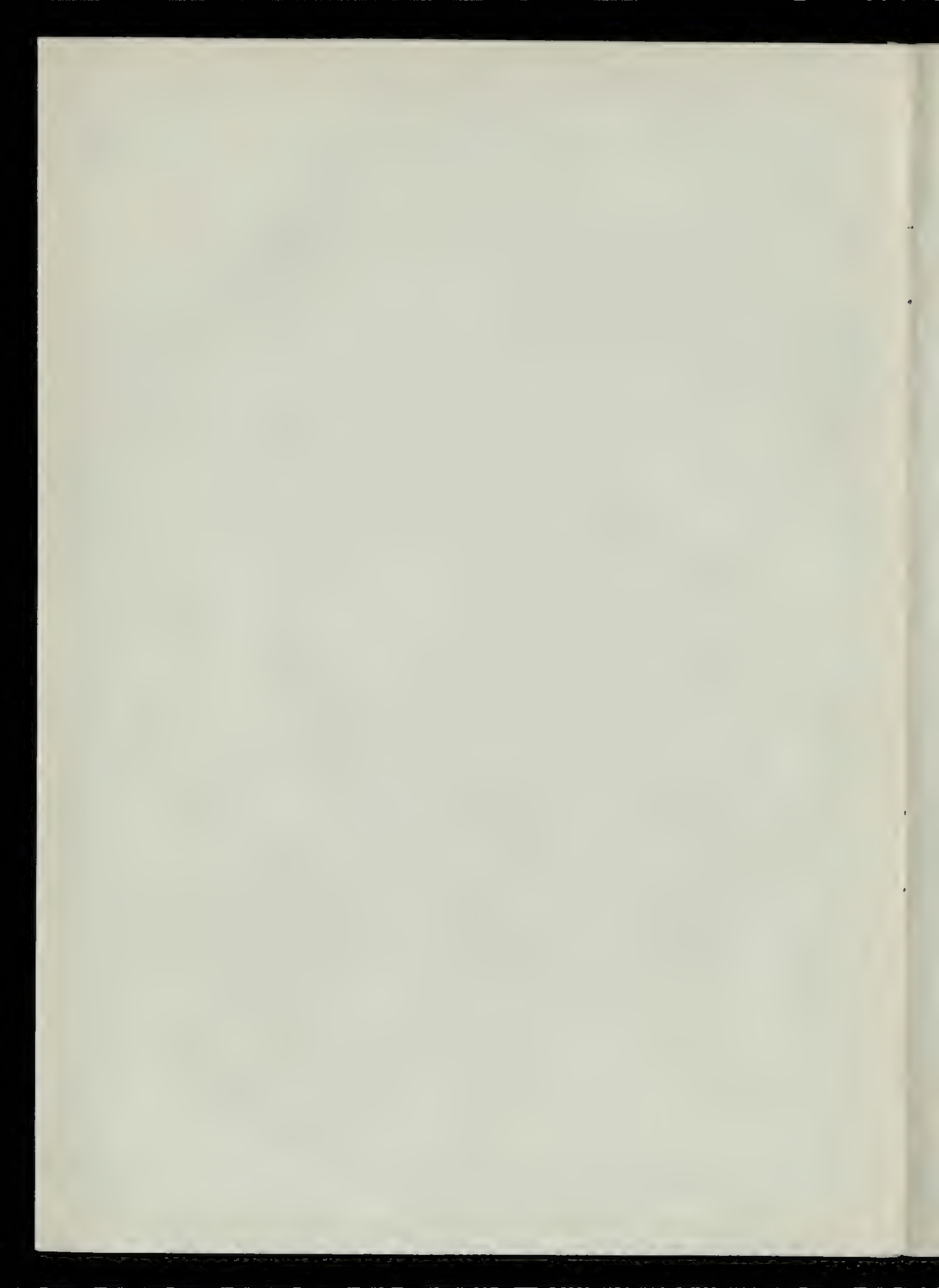
И она была вытащена. Но, о ужас, обнаружилось, что, действительно, масса писем, рукописей, тетрадок и фотографий изгрызана мышами, а оставшиеся были в таком хаотическом состоянии, что не менее месяца ушло, чтобы только привести все в возможный для пользования вид.

Тогда весь материал был разделен на две части: первая, составившая I т. «Дани времени»,—царствование Александра II от 60-х до начала 80-х годов, и вторая, настоящая часть—все царствование Александра III и 6 лет из царствования Николая II, до 1899 г., т.-е. конца XIX столетия. При этом следует заметить, что 6 из 15-летнего царствования Александра III я провел в ссылке, и этот период описывается на основании сибирских данных, проверенных, по приезде в Россию, данными Европейской России, а 9 лет являются результатом уже одних местных впечатлений, записок, писем, земских и иных источников. Большая часть II тома печаталась в «Русских Ведомостях», «Былом» и «Голосе Минувшего», а меньшая появляется здесь впервые.



И. П. Белоконский

1898 г.



В ГОДЫ БЕСПРАВИЯ

Чтобы выяснить условия жизни в Европейской России возвращенных ссыльных, я считаю нужным привести предварительно выдержки из некоторых писем, полученных мною от ранее уехавших из Сибири товарищей. Н. В. Ковалевский писал мне из Киева, что его «экономическое положение хуже, чем было в Минусинске. Возвращенные из ссылки встречают в Киеве, да, полагаю, и везде, чрезвычайные затруднения в приискании себе какого-нибудь заработка. Некоторые из возвращенных и поселившихся в Киеве в течение года не смогли заработать, что называется, ни копейки. Я уже в Киеве целый месяц ежедневно в поисках за заработком, но до сих пор нигде не имею не только заработка, но и сколько-нибудь определенной надежды на таковой. Вообще жизнь в Киеве, «на воле», оказывается далеко не столь привлекательной, как думалось в ссылке. Такой апатии и подавленности общественной даже в сферах, прежде обнаруживавших некоторую жизненность, я еще и не запомню. Нашему же брату, возвращенному, «свобода» превращается в свободу умереть с голоду. Веду я теперь жизнь кочевую, цыганскую и, по всей вероятности, буду долго еще ее вести, почему указать мой определенный адрес теперь не имею возможности».

Н. В. Ковалевский до ссылки в Сибирь был учителем гимназии в Курске, а затем — в киевской военной. За политическую неблагонадежность он в 1878 г. был удален со службы и переехал в Одессу, откуда в 1879 г. был, сроком на 5 лет, выслан административным порядком в Восточную Сибирь. Впоследствии выяснилось, что Ковалевского оговорил бывший чиновник киевской контрольной палаты Веледницкий, охарактеризовав его «украинофилом». Жена Ковалевского, Мария Павловна, о которой я не мало говорил в I части, сестра известного писателя Воронцова, была сослана на каторгу, где и отравилась.

В 1884 г. Ковалевский был освобожден и возвратился в Киев. Здесь он и умер в конце девяностых годов прошлого столетия.

Другой товарищ, Бать, из Киева же писал: «О себе могу сказать, что я до сих пор жил в Киеве безвыездно, а на-днях придется его покинуть и отправиться в Харьков, так как в здешний университет не принимают. Нужно разрешение министра, а тот снесся с здешним генерал-губернатором и не разрешил (очевидно, причина — несогласие на то Дрентельна)».

Но в конце-концов В. Г. Бать поступил в Казанский университет, где получил звание доктора медицины. Затем он сделался выдающимся эпидемическим земским врачом в Новгороде. Здесь он пользовался необыкновенною популярностью.

Лидия Парменовна и Владимир Викторович Лесевичи из Полтавы писали, что «жизнь их там томительно-однообразна». Первая сообщила новости из других мест. Они, конечно, тоже были печальны. «Не знаю,— писала Л. П.,— будет ли для вас новостью, если сообщу о пертурбациях, испытанных нашими бывшими товарищами по ссылке: Южаковым, Виноградским, Семенютою и другими сотрудниками «Одесского Листка», а также редактором этой газеты. Заподозренные в «подстрекательстве студентов», все они были арестованы, и выпущены только через четыре дня, когда совершенно ясна стала их невиновность. Это печальное «недоразумение» очень плохо отозвалось на экономическом положении Сергея Николаевича,— он лишился возможности работать в «Листке». Кроме того, «Пчелка», которую он редактировал, также должна была закрыться. Сообщу вам еще одну новость, которую вы, вероятно, не знаете: Михайловский и Шелгунов высланы на жительство в Выборг за речи, произнесенные одним на бале студентов, другим — на бале технологов».

К слову сказать, для Н. К. Михайловского это было, кажется, первое изгнание, а для Н. В. Шелгунова, которому в 1883 г. исполнилось уже 59 лет, ссылка в Выборг являлась повторным наказанием. Впервые сослан он был еще в 1864 году, когда познакомился чуть ли не со всеми городами Вологодской губернии. Первый остракизм его длился целых пять лет,— до 1869 года включительно.

Владимир Викторович к письму жены делал обширную приписку, в которой, между прочим, говорил: «Не сердитесь, бога ради, что редко пишу. Право, в робинзоновском нашем одиночестве есть что-то действующее так же, как бы действовала самая бойкая жизнь. Просто не замечаем, как дни мчатся. Тоскуешь, тоскуешь, а там, глядь, месяца-другого как и не

бывало. Да притом же, чтобы написать и коротенькое даже письмо, надо быть в соответственном настроении, а его-то вот никогда и нет. Вообще говоря, живем мы здесь так, как, конечно, никто из ссыльных в Сибири не живет. Полтава — ведь это только станция Харьково-Николаевской ж. д., не более; считать ее городом, да еще губернским, могут только в официальной переписке, «по положению»... Так досадно, что, отправляя письмо в такую даль, не могу сделать его для вас интересным. Не могу сказать точно о том, что говорят в обществе, какие есть слухи и т. п. Пожалуй, все это угадать не трудно, так как все это, попрежнему, шаблонно и глупо до омерзения. Обезьяны еще никому не удалось выдумать, и как-то все безыдейно, чуть не хуже, чем прежде. Мыслишки, которые были, повыдохлись, из них ровно ничего не вышло».

Однако Владимир Викторович не окончательно лишился веры в лучшее будущее. К нему в Полтаву приезжала В. Н. Фигнер, и он, как и Н. К. Михайловский, дал согласие участвовать в возобновляемой этой изумительно энергичной женщиной, после 1-го марта 1881 г., «Народной Воле».

Но не только в Полтаве, Киеве, Туле, Н.-Новгороде и т. д. плохо жилось возвращенным: чужими были они и в столицах.

«Теперь и среди своих товарищей чувствую себя вполне чужим, отсталым, не проникаясь современностью,—писал мне из Петербурга державший государственный экзамен в медицинской академии М. О. Данилович.— Вы не можете себе представить, каким счастливым для меня будет тот день, когда я сяду в вагон железной дороги, чтобы расстаться с Петербургом, если можно, навсегда. Я предпочитаю свинство захолустное столичному».

Немного позже, только-что возвратившись из ссылки, от товарища Дробыш-Дробышевского из Нижнего-Новгорода получил я письмо такого содержания: «Из Тулы я писал вам в Житомир чуть ли даже не два раза, но не знаю, получили ли вы мое письмо. Уже больше года живу в Нижнем, где составлял «Сборник постановлений губернского земства», имеющий скоро выйти в печати. Теперь, прикончив сборник, ожидаю такой же работы по уездным земствам а в ожидании пишу литературные хроники в иркутское «Восточное Обозрение»[1], да критические статейки в «Волжский Вестник». Вот внешняя сторона моей жизни. Из невыносимого положения спас меня Владимир

[1] Известная, посвященная Сибири, газета, основанная Н. М. Ядринцевым, издававшаяся сначала в Петербурге, а с 1888 г. в Иркутске.

Галактионович [Короленко], одолживший мне денег, — тогда с проблематичной надеждой на возврат, — и приютивший меня у себя как родного [1]. Из прежних знакомых ваших здесь живут Елпатьевский [Сергей Яковлевич, писатель и доктор] и Козловы [бывшие ссыльные]. Елпатьевский имеет мало практики, но получил место врача в благотворительном вдовьем доме. Козлов служит капитаном на маленьком «самолетском» пароходе, а теперь, зимою, занимается в местном речном училище, для получения шкиперского диплома. Козлову живется худо, так как жалованье незначительно [50 руб. в месяц] для семейного человека. Школа, представляющая собою совершенно бессмысленное, ничему не поучающее учреждение, основанное Барановым [2] с какими-то задними целями и для видимости, особенно портит его расположение дум. Владимир Галактионович просит передать вам поклон».

Таким образом вести из Европейской России мне говорили, что возвращенные из Сибири не только лишние там люди, но и обреченные на смерть гражданскую и экономическую.

Нельзя сказать, чтобы это было нечто неожиданное. Реакция, докатившаяся до Сибири, давала слишком много признаков готовящихся нам сюрпризов. Но такова уже природа человека, что без веры и надежды жить он не может, а, потеряв их, он весьма часто покончивает и с жизнью.

Так вот и я. Невзирая на тяжести жизни в ссылке, как в зеркале отражавшей режим, установившийся в Европейской России, невзирая на приведенные вести, я с превеликим подъемом и надеждою стремился в Житомир, где уже год жила моя жена, не вскрывавшая в письмах всей действительности, чтобы поддержать во мне бодрость духа.

Но лишь только переступил я порог ее скромной квартиры, как эта суровая действительность выяснилась во всей своей неприглядности, которую можно было сразу формулировать немногими словами: полная необеспеченность в средствах к су-

---

[1] Знаменитый писатель был в то же время редкой души человек. Между прочим из писем его ко мне, изданных в Москве в 1922 г., видно, что вечно он был занят мыслью о «спасении» кого-либо — «из невыносимого положения», как выражается Дробыш-Дробышевский, писавший, к слову сказать, в поволжской прессе под псевдонимом «Уманьский».

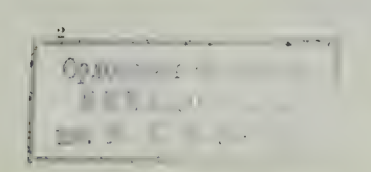
[2] Баранов, нижегородский губернатор, это тоже временщик, желавший заручиться благосклонностью Короленко, но, конечно, не добившийся этого. Он возмутительно наседал на Нижегородское земство. О нем говорится в «Голодном годе» Короленко.

ществованию и совершенная беззащитность возвращенных от произвола полиции.

Житомирским губернатором в то время, т.-е. в 1886 году, был «русский дворянин» фон-Валь, плохо, к слову сказать, знавший русский язык. Если бы Россия управлялась даже на основании нормальных законов, при строгом их соблюдении, то и в этом случае жизнь при фон-Вале не была бы сладка. Принимая же во внимание изданное еще 14 августа 1881 г. «положение об усиленной охране», предоставлявшее неограниченное право администрации по отношению к населению, фон-валевский режим представлял нечто напоминавшее режим, приблизительно, персидской сатрапии. Что касается всякого рода «неблагонадежных», «поднадзорных» и особенно возвращенных из Сибири, то они в буквальном смысле слова были вне закона. Полиция могла с ними делать, что ей заблагорассудится, не только не опасаясь никакой ответственности, но, наоборот, в полной надежде на карьеру, быстрота которой была пропорциональна степени преследования уже зарегистрированных «крамольников» и увеличения проскрипционных списков.

Карьера фон-Валя может служить тому примером. Началась она в Польше, где Валь в 1863 г. «усмирял» польское восстание. Это дало ему возможность быстро достигнуть вице-губернаторства, а затем и губернаторства. Он последовательно был начальником губерний Ярославской, Харьковской, Витебской, Подольской, Волынской и Курской. С 1892 по 1895 г. Валь состоял петербургским градоначальником, и столица стонала от его репрессий, а он в 1901 г. был назначен виленским генерал-губернатором, при чем в этой должности применял к политическим заключенным телесное наказание, что вызвало покушение на жизнь Валя. Все это было наруку последнему и в 1902 г. Плеве пристроил Валя на самый подходящий для него пост, сделав его товарищем министра внутренних дел, заведующим Отдельным корпусом жандармов. Здесь Валь почувствовал себя, как рыба в воде, проявляя редкую энергию по части ссылки, и развил систему провокации. В 1904 г. фон-Валь назначен был членом Государственного совета. Такова карьера фон-Валя, обладавшего исключительно полицейским талантом и приверженностью, — как потом сообщали газеты, — к прусскому милитаризму. Но я слишком забежал вперед. Возвращаюсь к Житомиру. Нет ничего удивительного, что, как только жена моя, приехав в Житомир, наняла квартиру, пристав тотчас же заявил: «Если вы не переселитесь в другой участок, я буду вас преследовать: производить обыски по ночам, следить за вашей

2





квартирой и т. д.» Ясно было, что пристав, быть-может, из страха желает просто «сбыть с своих рук» поднадзорную, чтобы оградить себя от излишних неприятностей, и что, следовательно, то же самое сделает пристав в каждой части, покуда все они не выживут жену из «своего» города. А в другом городе повторится та же история. Поэтому надо было удержаться на своей позиции во что бы то ни стало. Так жена и сделала, возбудив против себя пристава. Мой приезд только подлил масла в огонь. Полиция начала наседать, словно бы квартира наша была неприступной крепостью. Но бежать было некуда. Пришлось не только отсиживаться, но и делать вылазки для добывания средств к существованию.

Благодаря евреям, мы пользовались небольшим кредитом, что давало возможность кое-как пробиваться. Однако этого было недостаточно, и надо же было выплачивать долги. Если бы мы были вдвоем, то, несомненно, передвигаясь с места на место, так или иначе устроились бы. Но у нас была совершенно разоренная ссылками семья жены. Нельзя было ни минуты думать о длительной работе, например, литературной, которая бы оплатилась в будущем; надо было спешить с заработком сейчас, немедленно, потому что ничего не было на сегодняшний день. До моего приезда жена сотрудничала между прочим в местной газете «Волынь», зарабатывая медные гроши. Это была удивительная газета, издававшаяся в то время добродушным священником Коровицким. Уже одно то обстоятельство, что «Волынь» могла существовать при тогдашних невероятных для провинциальной печати условиях, служило доказательством ее абсолютной благонадежности. Но мало того, что она была безобидной в политическом отношении,—«Волынь» отличалась еще разнообразием, так сказать, взглядов. Вот характерный пример.

По поводу какого-то процесса, разбиравшегося в житомирском суде, жена моя написала передовую статью. На ту же тему и по тому же случаю передовую же статью написал и кто-то другой, высказав совершенно противоположные взгляды. Батюшка, ничтоже сумняшеся, механически соединил обе эти статьи, при чем вторая, ничем не разделяясь, являлась прямым продолжением статьи моей жены. Последняя ахнула, прочитав утром такое месиво, и отправилась протестовать и требовать, чтобы в газете была напечатана заметка, выяснявшая «недоразумение». Но редактор не согласился:

— Пустяки! — добродушно улыбаясь, утешал он жену. — Разные бывают взгляды: одному первая часть понравится, другому — вторая.

— Но ведь подумают, что это одного и того же автора!..
— Пу-устяки! Кто там будет думать!..
Коровицкий, не имевший никогда никакого отношения к журналистике, вел газету спустя рукава, как бог на душу положит, видимо тяготился своим органом, что и дало мне безумную мысль приобрести эту газету и вести ее вместе с женой!
Безумна эта мысль была и потому, что у нас не было никаких средств, и потому, что администрация, конечно, немедленно приняла бы соответствующие меры, чтобы пришибить не только газету, но и издателя, и потому, наконец, что трудно было при таких условиях надеяться на подписку, которая бы не только окупала издание, но и давала возможность существовать «редакции», хотя бы она состояла всего из двух лишь человек.
Но, нужно думать, велик был еще запас духовных сил, веры и надежды в какие-то «перемены обстоятельств», и вот они-то и не остановили нас перед безумием: я заключил с батюшкой домашнее условие и пустился из Житомира в путь, чтобы, во-первых, повидаться с родными, которых не видел восемь лет, и, во-вторых, привлечь в «свою» газету сотрудников, главным образом, из товарищей по ссылке.
Двинулся я в дорогу с медными грошами в кармане, оставшимися у меня еще от дороги из Сибири.
Добравшись в дилижансе до Бердичева, а оттуда по железной дороге до Киева, где прошли лучшие годы моей жизни, я остановился в этом городе, чтобы повидаться с сестрой моей жены, Леонардой Николаевной, сидевшей тогда в киевской тюрьме. С этой целью, не без трепета, направился я к знаменитому начальнику киевского жандармского управления — Новицкому. Такое мое настроение объяснялось жестокостью и грубостью последнего, изобревшего между прочим щиты для окон в камерах политических заключенных, чем он в то время прославился на всю Россию. Я боялся, что не выдержу, если Новицкий оскорбит меня, и тогда рухнут все мои планы.
Идя в жандармское управление, я утешал себя только тем, что, быть-может, придется просить о свидании кого-нибудь другого.
Я опасался еще из-за инцидента, который имел место при обыске у моей жены, произведенном одновременно с обыском у ее сестры Леонарды Николаевны, тотчас после этого арестованной.
Мрачно и пронзительно оглядел Новицкий мою персону с ног до головы своими серыми глазами, покрутил спускавшиеся вниз усы и, выпрямившись, грозно спросил:

— Кто вам разрешил явиться в Киев?

— Мне никто не говорил, чтобы Киев являлся для меня запретным городом.

— А вы сами не догадались?

— Почему? Я не понимаю вашего вопроса...

— Ну, так поймете...

Новицкий повернулся и ушел.

— Прием кончен,—произнес вошедший затем жандармский офицер, движением руки указывая мне на дверь.

— Но полковник не выслушал даже...

— Это меня не касается,—повторяю, прием окончен...

Я вышел, инстинктивно догадываясь, что Новицкий задумал что-то по отношению ко мне предпринять, и решил, отряхнув прах от ног, оставить Киев. Но когда очутился на улицах этого красивого, богатого для меня мрачными и светлыми воспоминаниями города, не мог устоять, чтобы не прогуляться по нему. Из афиш, расклеенных в разных местах, я узнал, что в оперном театре идет «Демон», при чем демона играет Тартаков. Это был для меня непреодолимый соблазн. Лет 10 я не слыхал ни хорошей музыки, ни пения, и для меня, обожающего, можно сказать, и то и другое, отсутствие в ссылке музыки и пения являлось одним из самых тяжелых переживаний. Нет ничего поэтому удивительного, что я решил плюнуть на все предполагаемые мною подвохи Новицкого и отправился вечером в оперу, в тот театр, который когда-то мне доставлял высшее художественное наслаждение, где я слыхал пение Кадминой, Павловской и многих других знаменитых артистов и артисток. Опасаясь, что полиция каким-либо образом воспрепятствует мне осуществить мое намерение, я решил явиться в свой убогий номер только после оперы на ночлег.

Прекрасный теплый и ясный осенний день дал мне полную возможность обойтись без гостиницы.

За исключением времени, употребленного на обед в какой-то столовой и вечером—на чай в кафе, я все время ходил по улицам, лазил на гору св. Владимира, сидел на берегу Днепра и т. д., и незаметно для меня настал вечер, когда я отправился в театр. Здесь я весь был поглощен оперою, так что забыл обо всем на свете. Как один прекрасный миг прошел для меня «Демон». Очарованный музыкой и пением, медленно шел я в свою гостиницу, чтобы, переночевав, бежать утром от Новицкого. Но не тут-то было. В номере меня ждала уже полиция, произведшая обыск почти пустого моего чемоданишки.

— Вы Белоконский?—был первый вопрос, которым встретил меня пристав.

— Я... А что?

— Предписано вас задержать и завтра с первым поездом выслать.

— Куда?..

— Из пределов киевского генерал-губернаторства...

— На каком основании?

— Это не мое дело,—мне предписано, и я больше ничего не знаю...

— Но я сам завтра уеду.

— Куда?

— К родным, в Черниговскую губернию.

— Туда нельзя...

— Ну, это, знаете ли, самый возмутительный произвол... Я не видел родных восемь лет...

— Поверьте, что я здесь ни при чем... Мне предписано...

— Я должен видеть генерал-губернатора...

— Это как вам угодно... Об этом поговорите с полицмейстером...

— Где же я его увижу?

— В части.

— Но зачем же я должен отправиться в часть?

— Мне предписано... Я прошу вас пожаловать со мною в часть...

— Я не вижу в этом никакого смысла...

— Я еще раз прошу... В противном случае...

— Что?

— Вынужден буду прибегнуть к насилию...

— Неужели?

— Могу вас уверить... Как это мне ни неприятно, но служба...

Нечего делать,—пришлось, не раздеваясь, расплатиться за номер, сесть рядом с приставом на извозчика и, в сопровождении двух полицейских, ехавших сзади с моим чемоданом, отправиться в часть.

Здесь был уже и полицмейстер с страшной фамилией, кажется, Живоглотов. Но он не осуществил того глагола, от которого произошла его фамилия, и был даже довольно любезен со мною, предоставив для ночлега турецкий, обтянутый клеенкой, диван в канцелярии пристава.

На мое желание повидаться с генерал-губернатором Живоглотов ответил:

— Напрасно вы этого добиваетесь... Вероятно, он ответит отказом на вашу просьбу, а если и примет, то, конечно, повторит то же, что сказано в его предписании о высылке вашей из пределов его генерал-губернаторства, т.-е. Киевской, Волынской и Черниговской губерний.

— Разве это его предписание?

— А чье же?

— Вероятно, Новицкого...

— Быть-может, он сделал представленье об этом, нам неизвестно, но выселяет вас генерал-губернатор. И, право, чтобы вам долго не сидеть в части, лучше всего завтра же уехать... Ну, до свиданья, спокойной ночи.

Вскоре канцелярия пристава опустела, и я, хранимый городовым, стоявшим у двери в коридоре, остался в одиночестве и снова улегся на диване, чтобы уснуть после целого дня хождения.

Но, увы, сон бежал от моих глаз. Возмутительный произвол взбудоражил всю мою нервную систему. Без всяких оснований, по указанию лишь жандармского полковника, произвели у меня обыск, арестовали, засадили в часть и насильственно выселяют из территории, где живет моя семья, родные, которые 8 лет ждали моего приезда!

И я, не совершивший никакого преступления, абсолютно бессилен оградить свою личность!.. Но мало того, что меня лишают элементарных прав человека,— я не могу даже добывать средства к жизни!

Всю ночь не сомкнул я глаз и ранним утром был уже на ногах.

— Чего не спите, господин?—обеспокоился городовой, предполагавший, быть-может, что я намереваюсь скрыться.

— Не спится...

— А вы не очень беспокойтесь,—у нас каждый день кого-нибудь, вот как вас, задерживают...

— Мне от этого не легче...

— А потом на поезд—и больше ничего... Вот ежели, примерно, в тюрьму отправят, тогда, действительно, неладно... Но вас, должно, не отправят, потому как на ночевку оставили, а то бы, значит, прямо в острог отправили...

— Мне это известно...

В это время в канцелярию вошел околоточный надзиратель.

— А, вы уже проснулись?—заговорил он со мною.

— Как видите...

— Вот и отлично... Я думал разбудить вас, так как поезд идет очень рано...

— Куда?

— Да на север, на Курск...

— Я вас не понимаю...

— Мне предписали отвезти вас на вокзал и присутствовать, пока поезд, в котором вы едете, не уйдет...

— Но почему же я должен ехать в Курск?

— А потому, что на юг вам нельзя, т.-е. нельзя жить в киевском генерал-губернаторстве.

— Я бы хотел повидаться с генерал-губернатором...

— Я ничего не знаю: мне предписано отвезти вас на вокзал, взять билет до того места, куда вы уезжаете, кроме киевского генерал-губернаторства, и подождать... Курск, видите ли, самый ближайший губернский город, а там вы решите что-нибудь...

— Но Курска я совершенно не знаю...

— Выбирайте другой город... Только должен заметить, что денег у вас мало, и, когда заплачено будет за билет, даже третьего класса, останется меньше рубля...

Затем, обернувшись к городовому, околоточный надзиратель властно приказал:

— Позови извозчика и вынесешь чемодан.

Не более как через час после этого поезд вез уже меня в совершенно неизвестный мне Курск, при чем в моем кошельке было всего лишь 87 копеек денег.

В Курске я знал только тюрьму, в которой восемь лет тому назад провел трое суток до отправления в Орел. Поэтому, когда по ветке от вокзала я прибыл в этот город, решительно не знал, что делать и как быть, тем более, что в кармане у меня, как я уже сказал, не было даже рубля. Но долго думать было невозможно. Необходимость заставляла немедленно принять какое-либо решение. Самым жгучим являлся вопрос о каком-либо приюте, где приклонить голову, хотя бы переночевать первую ночь. О гостинице нечего было и думать, так как средств не хватало для оплаты самого жалкого номера. Решив это, я оставил у носильщика свой чемоданишко и пошел бродить по незнакомому городу, придумывая, — как найти помещение без денег, чтобы платить за него спустя некоторое время, хотя, с другой стороны, не знал, откуда же я добуду средств и в скором будущем. Трудно словами передать то настроение, которое я переживал. Я останавливался у всех домов, где виднелись объявления о сдаче квартир и комнат, и, наконец, на-

ткнулся на Фроловской улице на убогий флигелек, кажется, Вязмитиновой, на окне которого записка гласила, что в нем отдается комната за 7 рублей в месяц. Не сразу решился я позвонить: а что, если хозяин потребует задаток,— что я скажу?—беспокоила меня мысль. Но, однако, надо было на что-нибудь решиться. Я позвонил. Дверь отворила полная, добродушная на вид старуха.

— У вас сдается комната?

— Сдается.

— Позвольте посмотреть.

— Смотрите, смотрите.

Чистенькая, крохотная комнатка совершенно соответствовала моим скромным желаниям. Но как сказать хозяйке, что у меня нет денег? Начинаю изворачиваться.

— Я бы ее нанял, но вперед денег выплатить вам не могу, а спустя несколько дней...

— Ну, так что же, — к моей радости ответила старуха, — можно и после... Вы один будете жить?

— Один...

— Ну, и живите с богом... А ваши вещи?

— Я их сейчас привезу...

— Ну-ну...

Радости моей не было пределов. Я тотчас же отправился на вокзал, взял свой чемодан и, за невозможностью нанять извозчика, понес его на свою квартиру. Благо уже смеркалось, и это обстоятельство, а также и то, что выбирал я пустынные улицы, дало мне возможность не возбуждать любопытства прохожих, которые, конечно, удивлялись бы, видя совершенно прилично одетого субъекта, несущего на собственных плечах чемодан. Не сделала никакого замечания и хозяйка, подумавшая вероятно, что извозчик, привезший меня с вещами, отъехал.

— Сейчас вам самовар подадут,— сказала она.

Но я отказался, заявив, что чай уже пил. В действительности же у меня не было ни чаю, ни сахару, и мне неловко было возвратить самовар и посуду со всеми признаками неупотребления их. В то же время мне очень хотелось есть. Поэтому я скоро ушел из своей квартиры и, купив себе за пять копеек французскую булку и на пять копеек колбасы, отправился на бульвар, что близ присутственных мест, и, оглядываясь, по сторонам как школьник, с редким аппетитом совершил незатейливую свою трапезу.

На возвратном пути я купил за 7 коп. марку и за столько же стеариновую свечу. Но, к сожалению, у хозяйки не оказалось

ни пера, ни чернил, и я не мог уведомить жену о своих неожиданных приключениях в день приезда.

— А когда вам самовар поставить утром?— спросила старуха.

— Я буду пить чай у знакомых,— придумал я ответ.

— Ну, хорошо,— сказала хозяйка и ушла.

А я, оставшись один, стал ходить из угла в угол своей комнаты, ломая голову, что мне предпринять, покуда не спишусь с женой и друзьями. И продолжалось это до тех пор, покуда усталость не заставила меня прилечь на кровать, на которой я скоро, не раздеваясь, уснул мертвецким сном. Проснувшись утром, я несколько секунд даже не сознавал, где я, а затем вспомнил, взглянул на часы, чтобы узнать, какое время, и нашел временный выход из своего бедственного положения: «Да ведь я же могу заложить часы»!—явилась у меня блестящая мысль. И я, умывшись в коридоре из жестяного рукомойника, тотчас поспешил использовать свое счастливое открытие. В ломбарде за часы дали мне три рубля, и эта сумма показалась мне целым богатством, тем более, что у меня оставалось еще за всеми вчерашними расходами 63 коп. Можно было и марок купить, и продержаться несколько дней до получения ответов на письма, и даже раз-другой пообедать, не говоря уже о чае. Я тотчас же купил себе $^1/_8$ чаю, 2 ф. сахару, две булки, $^1/_2$ ф. колбасы, пять марок, на гривенник бумаги и конвертов, на пятиалтынный чернил, перьев, ручку и, возвратившись на квартиру, попросил поставить самовар, заявив, что не застал знакомых дома.

Трудно вообразить то удовольствие, с которым я пил чай и тут же писал письма жене и друзьям. Я забыл обо всем недавно пережитом и жил уже розовыми мечтами о будущем, хотя для этого не было ровно никаких оснований. Вероятно, такова уже славянская или, вернее, русская натура, что быстро мирится она со всеми невзгодами, быстро осваивается со всякими безобразиями, и малейшее, даже случайное улучшение обстоятельств уже возбуждает какие-то несбыточные надежды.

Достаточно было трех рублей, дававших возможность перебиться maximum неделю, при трате по 43 коп. в сутки, как я уже, что называется, «стал на ноги»!

Отправившись бросить письмо, я, на обратном пути в свою квартиру, наткнулся на старый дом, где помещалась редакция «Курского Листка», и решил попытать счастья — найти в нем работу. Поднявшись по шатким, грязным ступеням на второй этаж, я увидел какую-то бабу, которая и вызвала редактора.

Судя по растрепанному виду, он, вероятно, только-что встал с постели и довольно сурово встретил меня.

— Что вам угодно?

Я отрекомендовался и заявил, что желаю работать в газете...

— Но у меня все отделы уже заняты,— отрезал редактор и раскланялся.

В этот же день мне удалось видеть и «Курский Листок». Это была неряшливая, крохотная газета, вся состоящая из перепечаток и не имевшая никаких «отделов».

«Листок» являлся характерным образчиком жалкого, унизительного положения провинциальной печати, совершенно задушенной цензурой и произволом местной администрации. Мне смешно сделалось, когда я вспомнил хвастливую ложь бедного редактора, что в его газете «все отделы заняты».

Чтобы не возвращаться более к этому типичному представителю тогдашней печати в глухой провинции, сообщу переданный мне факт о положении сотрудников в этой газете. Говорили, что в «Листке» был единственным сотрудником какой-то несчастный алкоголик, сделавшийся таковым, быть-может, вследствие тяжелых условий...

Получал он гонорар четвертаками, много — полтинниками, и еле-еле поддерживал свое бренное существование. Как-то сотрудник возымел смелость взыскать весь долг с редакции, выражавшийся несколькими десятками рублей. Но настойчивые требования бедного работника печати очень продолжительное время не увенчивались успехом. Наконец, однажды, когда он сидел в своей комнатушке, где-то на отдаленной окраине города, к воротам подъехала телега с несколькими ящиками. Не говоря ни слова, возчик свалил ящики тут же на улице под окном у сотрудника и подал записку, из которой выяснилось, что — ящики и есть гонорар. Он заключался в жидкости, из которой выделывается мыло. Дело в том, что редактор-издатель «Листка» имел где-то мыловаренный завод, прекративший свою деятельность, не выработав всего сырья. Вот это-то сырье, оцененное по себестоимости, и привезено было «литератору» — с правом продать мыльную жидкость и выручкой покрыть гонорар! Факт характерный, но, в сущности говоря, не представлявший собой ничего изумительного. Положение провинциальной печати было настолько убийственно, что она еле влачила свое существование, а участие в ней—своего рода подвиг, крест. И это потому, что провинциальная пресса не только не доставляла сотрудникам средств для существования, но, наоборот, требовала от них полного самоотвержения, ригоризма, до голода включительно.

Поэтому сотрудничество в провинциальных газетах являлось делом идейным, на которое способна только бескорыстная русская интеллигенция, ошибочно видевшая в прессе одно из средств для достижения своих идеалов. Говорим «ошибочно», потому что убийственная цензура губила, вытравляла всякую живую мысль из периодических органов провинциальной печати и жестоко преследовала не только редакторов и сотрудников, но даже издателей и владельцев типографий. В свое время историк будет поражаться, как все же многострадальная печать эта совершенно не была искоренена, как в корне не задушено было печатное слово.

Около недели пришлось мне проваландаться в Курске, покуда я не получил письма от жены из Житомира. В этом письме она, поддерживая, по обыкновению, бодрость духа, рекомендуя не печалиться и не утрачивать энергии, присылала адрес семейства Аншельсон, которое, по полученным Валериею Николаевною сведениям, сделает все от нее зависящее. И действительно, муж и жена Аншельсон, сами в то время еще необеспеченные, оказали мне поддержку и вообще отнеслись чрезвычайно сердечно.

При посредстве их я познакомился с небольшой колонией поднадзорных в Курске, которые точно так же приняли во мне участие. Однако, сами лишенные возможности чем-либо заниматься, они не могли и мне помочь в нахождении более или менее постоянной работы, которая давала бы возможность существования и оседлости в Курске.

Для получения какого бы то ни было места требовалась «благонадежность», одобрение администрации, но на это я рассчитывать, конечно, не мог. Оставалась одна литературная работа, которая, несомненно, выручила бы меня, если бы я имел право жить в столицах. Но последние были для меня недоступны. В виду всего этого я, заняв немного денег у моих новых знакомых, уехал, по их совету, в Орел, где, говорили, «Орловский Вестник» искал сотрудников.

В поезде на меня нахлынули тяжкие мысли. Я почувствовал полное бессилье бороться с опутавшими меня, как паутина, бесправием и произволом. Я не знал, зачем ехал в Орел. Разве там не то же, что в Курске? Не тот режим, не та администрация, не то положение печати? Что за несчастная многомиллионная страна, которая задыхается в тисках бюрократии и крепостников, занявших с 1881 г. господствующее положение и даже мечтающих о возвращении былого через 25 лет после падения крепостного права! И казалось мне, что все пассажиры

были в таком же настроении, думали о том же. На всех, казалось, была печать тоски и безнадежности от густого мрака беспросветной реакции.

Через пять часов езды я был уже в Орле, в котором мне пришлось прожить целых девять лет.

В Орел прибыл я с тремя рублями денег и одним адресом в кошельке. При таких капиталах нечего было и думать о гостинице. Приходилось, как и в Курске, оставив вещи на вокзале, направиться в город, чтобы подыскать возможно дешевую комнату. Но условия были здесь менее благоприятны. В Курске «ветка» доставляла вас в центр города, а в Орле вокзал расположен, как говорится, у чорта на куличках. Правда к услугам пассажиров было не мало извозчиков, но поездка на них совершенно вывела бы мой бюджет из равновесия. В силу сказанного я решил возможно полнее использовать собственные ноги, не требовавшие никаких расходов, и устроиться на ближайшей к вокзалу окраине города. Последнее желание мотивировалось не только скудостью средств, но также и тем, чтобы не очень далеко тащиться с чемоданом с вокзала. К моему удовольствию в начале Московской улицы, которою со стороны железной дороги начинался Орел, я на окне одного миниатюрного деревянного домика увидел замусленное «обявление», гласившее, что «одастца дяшова комната». Я стал высматривать звонок, но такового не нашел.

— А что вам? — послышался оклик с улицы.

Я оглянулся и увидел дворника с метлою.

— Комнату хочу посмотреть.

— Гришка! Гри-и-шка-а! — в ответ на мои слова стал кричать дворник.

Из ворот соседнего дома выбежал белобрысый сопливый мальчишка в расстегнутом пальтишке и в громадных женских ботинках; обеими руками он поддерживал явно стремившиеся сползти с него штанишки.

— Цево тебе? — обратился он к дворнику.

— Глянька-ся за угол, не стоит ли тама Евстигней.

Гришка, спотыкаясь о мостовую, добежал до ближайшего угла и заорал, что было мочи, писклывым голосом:

— Евстигней!.. Ев-стиг-не-е-й!

Затем он скрылся.

— Значит тама,— пояснил дворник.

Действительно, скоро послышалось тарахтенье дрожек, и показался одноконный извозчик с сиявшим от удовольствия Гришкою на сиденье.

— Чаво тебе?—обратился Евстигней к дворнику.

— Да вот господин насчет хватеры...

— Это вам-то?—спросил извозчик, оглядев меня с ног до головы.

— Да.

— Ну-ка-ся, Гришка, отвори калитку.

Мальчишка, стряхнув башмаки, тотчас же ловко взобрался на забор, совершенно оголив свой зад, спрыгнул во двор и стал возиться у калитки.

— Чего ты там?—кричал с улицы Евстигней,—отворяй!

— Да не отворяется,—пищал со двора Гришка.

— Коленкою стукни.

— Стукна-а-л.

— Разбухла, анафема,—обратился извозчик к дворнику.

— Да оно по осени усе разбухать,—глубокомысленно пояснил дворник и прибавил,—должно самому тебе придется перескочить.

— Поди что так .. Постереги коня.

— Ладно.

Евстигней спрыгнул с козел, поднял полы длиннейшего на вате синего армяка, поднял их, отвернул, засунул за пояс, грузно перевалился через забор и, спустя немного, отворил калитку.

Она вела в небольшой, обильно унавоженный двор, на котором расположен был деревянный домишко и навес.

Прежде чем показать комнату, извозчик сообщил, что его семья, состоящая из матери, жены и четырех детей, проживает в деревне, что он, Евстигней, единственный работник, что земли на весь двор две десятины, а едоков—семь человек; поэтому-то он осень и зиму извозничает в городе, а весну и лето на тех же лошадях работает в деревне. За дом с двором платит он 240 рублей в год, что было бы для него очень дорого, но так как квартира расположена вблизи базара, то у Евстигнея «останавливаются» в базарные дни и «земляки», и вообще «деревенские». За простой и ночлег он берет, глядя по состоятельности, то гривенник, то пятиалтынный, то, наконец, двугривенный,—и этими взносами совершенно оплачивает стоимость своего помещения, так что извоз дает ему чистую прибыль.

«Флигер», как называл извозчик свою квартиру, состоял из двух разделенных сенями комнат: одна громадная, с русской печкою, и другая крохотная, с голландскою печью. Первую занимал Евстигней, а вторую сдавал. Окна этой комнаты,

с некрашенным скрипучим полом, выходили под навес, и свету в ней почти не было; мебель состояла из двух скамеек и небольшого столика; стены зияли пятнами от обвалившейся штукатурки. Но зато цена была совершенно соответствовавшая моим средствам—четыре рубля в месяц с отоплением, освещением и двумя самоварами. Мало того, дав полтинник задатка, остальные 3 р. 50 к. я мог внести в конце месяца. Наконец хозяин предложил мне бесплатно доставить с вокзала чемодан. Таким образом, благодаря счастливой случайности, я с тремя рублями в день приезда совершенно устроился в незнакомом городе.

К вечеру Евстигней привез мне чемодан и железной лопатой, которой убирали навоз, соскреб с моего пола грязь, а оставшуюся размазал шваброю, заметив:

— Кабы баба у нас была, дело, конешно, было бы чище, а без бабы и так сойдет.

После скребки и размазки грязи Евстигней внес зажженную маленькую жестяную лампочку с закоптелым и с отбитым верхом стеклом, а затем—жестяной же, ведерного размера, совершенно черный от грязи, бурно шумевший самовар.

— Чай и сахар у вас имеется?—спросил он меня.

Получив отрицательный ответ, Евстигней предложил свои услуги «сбегать на базар». Я дал ему рубль, и извозчик в скором времени в поле лоснящегося, засаленного кафтана принес: три фунта горячего развесного белого хлеба, 1/4 чая за 13 коп., 1 фунт сахара, селедку-«кобылу» за 6 копеек и два антоновских яблока за 3 коп., всего на 45 коп.

На мое замечание, что чай очень уж дешев, извозчик пояснил, что «настой его важнейший».

Сложив принесенное на стол, Евстигней ушел, чтобы принести чайник с отбитым носом, две жестяных кружки и громадный нож.

Я заварил чай, а извозчик очистил селедку, разрезал ее на бумажке, в которой селедка была завернута, тем же ножом накроил громадные ломти хлеба, разрезал одно антоновское яблоко и, сняв кафтан, под которым оказалась красная рубаха, перекрестился на почерневший образ неизвестного святого, привешенного в углу у потолка, сел у стола на лавку и стал есть селедку с хлебом, обтирая руки то о штаны, то о свои волосы на голове.

Я был тоже очень голоден, но селедка воняла, как давно не чищенная помойная яма, и заставила меня некоторое время колебаться,—есть ее или нет? Однако Евстигней пожирал

«кобылу» с таким дьявольским аппетитом, что я не удержался и последовал его примеру. Рыба была так солона, что прямо обожгла, как говорится, мой рот при первом укусе. Должно быть на лице моем ярко проявилось это ощущение, потому что хозяин, взглянув на меня, произнес:

— Уж и асельедка же!

— Да-а! — протянул я, полагая, что Евстигней выражает порицание рыбе.

Но я жестоко ошибся.

— За такую асельедку, — продолжал он, — меньше гривенника Ляксеич ни бирсть, а мне за шесть копеек уступаить, потому как я усех к ниму посылаю, которые, значит, у меня останавливаются.

После этого мне неловко было не доесть взятого куска и, поборов гадливость, я покончил с ним, набросившись тотчас на чай, чтобы затушить, выражаясь фигурально, пожар, которым объяты были мои внутренности. Я понял теперь, почему в народных трактирах, в заезжих и постоялых дворах до дна выпиваются ведерные самовары двумя-тремя извозчиками: после таких селедок можно опорожнить бочку.

— Что же вы не кушаете? — спросил Евстигней, когда я кончил первую кружку черного, как деготь, и пахнувшего банным листом чая.

— Не хочется больше.

Нужно думать, хозяин был не очень огорчен моим ответом. По крайней мере он не только съел мягкие куски селедки, но тщательно обсмоктал хвост и голову с вылезшими глазами. Когда на бумажке остались одни лишь кости от рыбы, Евстигней молча приступил к чаепитию. Он бросил в кружку два скрылька яблока и пил чай в прикуску. За третьей кружкой по его молодому здоровому лицу потекли ручейки пота. Время от времени он стал рукавом рубахи вытирать как пот с лица, так и нос, ловко сморкаясь при посредстве пальцев, обтирая последние затем о штаны. С четвертой кружки Евстигней стал пить чай медленно, «с прохлаждением» и завел со мною разговор.

— А по какому делу в наш город приехали?

Я не мог сразу ответить на этот щекотливый вопрос и нагнулся над кружкой, чтобы сообразить, как отбояриться.

— Может по торговому делу? — между тем, не дождавшись ответа, спросил Евстигней.

— Нет... служить думаю...

— А по какой части?..

— Еще не знаю... Повидаюсь со знакомыми...

— Тэ-эк-с... Вы дайте мне пачпорт, потому как на этот счет у нас строго... Полиция — бед-да!.. Особливо жидов щиплють — у-ух! Им, таперича, жить у нас недозволено, но только они смазывают здорово и проживают. Как жид, таперича, поселился, сейчас либо убирайся ко всем чертям, либо—смазывай. Он должон и на полицмейстера платить, и на пристава, и на околотка, и на городового. Платит — живи, сколько хош, а нет денег — к чортовой матери! Ух, и зарабатывает же на жидах полиция!.. Есть тут у нас пристав, Зубковский... Ух, и собака же!

Я обрадован был переходом хозяина от моего паспорта к положению евреев, так как жил я по проходному свидетельству, которое мне не хотелось показывать Евстигнею, чтобы не напугать его. Но он вспомнил опять о паспорте, и я сказал:

— Я его завтра сам пропишу, так как мне надо быть у полицмейстера.

— Может по полицейской части служить будете?

Я ничего не ответил на этот вопрос и круто переменил разговор на тему о нашем modus vivendi. Хозяин подробно выяснил этот вопрос. Он, Евстигней, встает в пять часов утра, затапливает свою печь, ставит самовар, и в шесть часов утра мы пьем чай на его половине. После чая он затапливает мою печь, и мы расстаемся до вечернего чая, который будет в моей комнате.

На вопрос, как же мне быть с калиткою, если я возвращусь на квартиру в промежутке между утренним и вечерним чаем, или когда он, хозяин, будет спать,—Евстигней ответил, что я всегда могу призвать Гришку, а ночью постучать в окно; в крайнем же случае и лично могу перелезть через забор.

— Видите какое дело,—пояснил извозчик,—кабы коней у меня не было, можно бы на замок с улицы запирать и два ключа иметь, а при лошадях нельзя: отобьют замок и уведут.

— Если найдутся желающие увести ваших лошадей, то не очень уж трудно через забор перелезть и, отворив калитку, сделать свое дело.

— Ну, не очень-то,—с улицы увидють.

— Привыкнут, что и вы лазите, и я,—не обратят внимания и на воров...

— Да оно так то так, ну, а все-таки...

Евстигней, допив шестую кружку, поднялся со скамейки, три раза перекрестился, громко отрыгнул и сказал:

— Звиняйте, - надо запрягать да на вокзал к поезду ехать.

Оставшись в одиночестве, я, не зная, что делать, скоро постлался кое-как на скамейке и лег спать. Я думал, что усталость усыпит меня, но, увы, гнетущие мысли не давали возможности сомкнуть глаз. «Скоро ли кончатся мои мытарства», задавался я вопросом и не мог ответить на него. «Быть-может, завтра же местная администрация не пожелает, чтобы я обосновался в Орле, и вышлет меня... Чем она связана в своих действиях?.. Решительно ничем... И я, свободный гражданин, не могу заняться никаким трудом, не могу даже добывать средства к жизни!.. Европеец, конечно, не понял бы в чем дело, и лишь турок или перс не нашли бы в этом произволе ничего особенного... Что, если бы сказать, например, англичанину, что человек, не осужденный судом, лишен всех прав на существование?..» Я слышал, как возвратился хозяин, как он вошел в сени, хлопнул дверью своей комнаты; всю ночь затем мой слух улавливал фырканье лошадей под навесом и далекий стук экипажей. Помимо взволнованных нервов, бессонница моя усугублялась узкостью скамейки, на которой нельзя было повернуться, спертым, отвратительным воздухом и селедочной вонью. Нет ничего удивительного, что я был весьма доволен, когда ранним утром Евстигней, приотворив дверь, позвал меня пить чай. В его половине в печи ярко и весело пылал большой огонь, а на столе энергично бурлил и испускал клубы пара знакомый уже самовар, у которого стояли кружки, громадный чугун, бутылка водки, стеклянный стаканчик и лежал кусок фунта в три-четыре горячего хлеба.

Оказалось, что хозяин «разогрел» уже себе обед, состоявший из щей с кислой капустою, который он изготовлял на несколько дней, «покуда не очистится чугун».

— Я так вам скажу,—пояснил извозчик,—что щи, чем они больше преют, тем скуснее,—вот покушайте.

С полки у печи он достал две деревянные ложки, вытер их об полу все той же кумачевой рубахи, в которой, повидимому, и спал, одну из ложек вручил мне, открыл крышку чугуна, откуда повалил пар, налил стакан водки и предложил выпить перед обедом. Я не в состоянии был сделать это ранним утром натощак и категорически отказался. Тогда Евстигней, перекрестившись, выпил стакан водки, крякнул, отплюнул, и мы начали есть щи из чугуна. Вероятно потому, что я был голоден, они мне очень понравились, как понравился и теплый с острым ржаным запахом хлеб. Пять-шесть больших круглых ложек щей совершенно удовлетворили мой голод, хозяин же ел еще долго после меня. Затем он обеими ложками достал из чугуна большой

кусок совершенно разварившегося, чрезвычайно жирного мяса, положил его на крышку чугуна, вытер о штаны нож, которым вчера резал селедку, накрошил им мясо, посолил последнее крупною черною солью и, выпив еще стакан водки, стал пальцами есть мясо, предлагая мне последовать его примеру, что я и сделал. Потом, икая и отрыгиваясь, Евстигней налил себе и мне по кружке чая и вышел «попоить лошадей».

Между тем в городе началась жизнь. Доносился звон церковных колоколов, слышался отрывочный говор проходивших мимо окон людей, все чаще и чаще дребезжали извозчичьи дрожки, стучали телеги и возы, отворялись лавки, дворники вышли убирать мостовую, а на базаре торговки с места в карьер начали переругиваться. Возвратившись, хозяин стал спешить. Выпив кружку чая, он вынес на «холод» щи «для завтрашнего дня», помешал в печи, закрыл ее заслонкой и, налив вторую кружку, быстро опорожнил ее, надел армяк и отправился запрягать лошадь для выезда. Не желая перелезать через забор, я решил одновременно с Евстигнеем уйти из квартиры. Мне нужно было пораньше направиться в полицейское управление, чтобы, лично заявившись, не иметь уже дела с городовыми и околоточными, а затем утром же, чтобы застать дома, побывать у земской акушерки-фельдшерицы М. Д. Носковой, адрес которой дан мне был в Курске.

Долго мне пришлось прогуливаться по улицам Орла, в котором я знал лишь тюрьму, покуда не настало время явиться в полицейское управление. На вопрос городового, — что мне нужно,—я категорически заявил о желании видеть «самого» полицмейстера. То же ответил я и околоточному надзирателю, которому городовой доложил обо мне.

— Да что вам нужно?..— удивился околоточный,— полицмейстер не может всякого принимать...

— Он обязан это делать,— решил я перейти в наступление, —какие же внутренние или внешние признаки нужно иметь, чтобы удостоиться чести быть принятым господином полицмейстером?

Околоточный широко раскрыл глаза, измерил меня всеуничтожающим взглядом, подернул плечами и молча направился в кабинет полицмейстера.

Еще в Житомире я открыл специальный для российского обывателя секрет предсказания его будущности: скажи, формулировал я его, как тебя приняли в полиции, и я скажу, какое будущее ожидает тебя в данном месте твоего жительства. Я ждал, как примет меня полицмейстер. Это произошло минут

через двадцать. Околоточный, выйдя из кабинета, промычал, бросив взор в мою сторону:

— Идите...

В кабинете в кресле сидел высокий, длинноносый, с выпученными холодными глазами, господин в парадной полицейской форме и с орденами на шее и груди.

—Что вам?—не глядя на меня, сурово спросил он.

Я отрекомендовался.

— А-а!—протянул полицмейстер,—о вас уже получены нами сведения. Скажите, почему вы выбрали наш город?..

— Разве Орел «ваш» город?..

Полицмейстер изумленно взглянул на меня.

— Вы знаете, с кем вы говорите?..

— Конечно, знаю... Но Орел так же принадлежит вам, как и мне.

Было ясно, что для полицмейстера это было самое неожиданное открытие. Он, наклонив над столом голову, стал смущенно перелистывать «дело» обо мне, придумывая, вероятно, привести доказательство принадлежности ему Орла. Конечно, данных для этого не было, и полицмейстер сказал:

— Ну, спорить я с вами не намерен... Мне нужно спешить к губернатору с докладом... Я ему доложу о вас...

— Я не за тем к вам пришел, г. полицмейстер. Я имею право жить в Орле и в Орловской губернии... Для меня безразлично, что вы доложите губернатору и что губернатор на это вам ответит...

— Вы ошибаетесь,—его превосходительство может в своей губернии распоряжаться как им угодно...

— Простите, но я все-таки думаю, что и город и губерния принадлежат не губернаторам и не полицмейстерам, а всему народу, в том числе и губернатору, и вам, и мне. Об этом мы разговаривать не будем. Я пришел к вам, чтобы впредь до получения паспорта полицейское управление зарегистрировало мое проходное свидетельство, потому что в глазах квартирохозяев оно является сомнительным документом..

— Оставьте его здесь...

— Нет, я вас прошу распорядиться, чтобы это сделали при мне и возвратили бы мое свидетельство, потому что в противном случае его принесет городовой и может чорт знает чего наговорить хозяину.

— Вы, значит, решили выбрать местом жительства Орел?..

— Да...

— Не советовал бы,—у нас очень строго.

— Везде одно и то же...

— Но я спешу с докладом...

— Сделайте распоряжение,—ведь не вы же лично свидетельствуете...

Полицмейстер нахмурился, надавил кнопку звонка и, когда явился околоточный, сквозь зубы процедил:

— Скажите, чтобы просителю прописали вид.

Затем он насупился и быстро вышел.

Я добился своего, но пришел к выводу, что туго мне придется в Орле. Надо было искать поддержки в обществе, без каковой жизнь станет совершенно невозможною, и придется, как «вечному жиду», опять искать другого города. Теперь все зависело от сведений, которые получу от М. Д. Носковой. И я отправился к ней.

Рассудительная, редкой доброты женщина эта, принесшая когда-то дань времени в виде ссылки в северные губернии, приняла меня с простотою и радушием. Благодаря моему политическому стажу, она была со мною совершенно откровенна, и я в короткое время был осведомлен об условиях орловской жизни. М. Д. Носкова указала мне на ряд поднадзорных в Орле, как-то: Гамзагурди (курсистка), ветеринарный врач А. И. Никольский, рабочий Шмидт, А. С. Юдин, бывший каторжник П. Г. Зайчневский. Затем назвала еще нескольких «сочувствующих» и вообще ободряла меня, стараясь внушить, что «все со временем устроится». Как бы в подтверждение своих розовых взглядов она в тот же день познакомила меня с прекрасным, чрезвычайно гостеприимным семейством Цуриковых, состоявшим из вдовы, двух ее сыновей и дочери. Несмотря на потомственное дворянское происхождение, строй жизни Цуриковых был чисто демократический, даже с некоторым, я бы сказал, нигилистическим оттенком в их взаимных отношениях. Простота и искренность, с которыми Цуриковы встретили меня, были причиной, что я сразу почувствовал себя как дома и охотно принял предложение питаться у них, покуда не устроюсь. У Цуриковых в тот же день познакомился с весьма интересным, начитанным и развитым рабочим Шмидтом, бывшим в ссылке в одной из северных губерний и бедствовавшим в Орле, как и все возвращающиеся. Цуриковы не только поддерживали его, но содействовали воспитанию сына, которому отец желал во что бы то ни стало дать высшее образование. Как коренные орловские жители, Цуриковы отлично знали свой город. Обсуждая с Носковой, как бы меня пристроить на первое время, они указали на «Орловский Вестник» и потому, что, как

писателю, мне лучше всего получить литературную работу, и потому еще, что не было никакой надежды на утверждение со стороны администрации, если бы я вздумал сунуться, например, в земство. Впрочем, было решено сделать попытку относительно частных работ по земской статистике.

Чтобы не возвращаться более к Цуриковым, с которыми я, а впоследствии и мое семейство,— были в самых наилучших отношениях в течение всего продолжительного пребывания в Орле, я считаю необходимым сказать еще несколько слов о матери семейства, В. П. Цуриковой. Это была добрая, сердечная и весьма оригинальная женщина. Заботясь о воспитании детей, ведя домашнее хозяйство, она в то же время являлась фанатическою поклонницею искусства. Театр для нее был, можно сказать, органическою потребностью. Не обладая такими средствами, чтобы делать большие затраты на удовлетворение своих эстетических и художественных запросов, В. П. сплошь да рядом сидела «в галерке» вместе с молодежью, не уступая последней в экспансивном реагировании на хорошее исполнение артистами их ролей в драме, музыкальных и вокальных номерах в концерте или опере, иногда посещавшей Орел.

Довольный первым днем своего пребывания в Орле, я около 10 часов вечера возвратился в свою квартиру, которая сразу перенесла меня в глухую деревню.

Калитка оказалась незапертою, двор уставлен был телегами и лошадьми, а моя комната, устланная соломою, была битком набита народом. Я приотворил дверь в комнату хозяина, но там было еще больше людей. Евстигней, заметив меня, вышел в сени и осведомил, что многолюдность объясняется завтрашним базаром, что меня будут беспокоить в неделю всего только три ночи и три утра под базар и в базарные дни. Затем, понизив голос, хозяин сообщил мне, что приходил городовой, спрашивал обо мне и сказал ему, Евстигнею, что он должен «присматривать» за мною и вообще «наживет со мною горя». В то же время городовой строго-настрого приказал, чтобы ничего того, что он сообщил, Евстигней не передавал мне, в противном же случае от извозчика будет отобран билет, и его могут даже выслать из Орла.

— Вы, христа ради, ничего не сказывайте,— умолял меня хозяин и прибавил,— может вам в другом месте комнату поискать?..

Я вспылил.

— Скажите вы городовому, что, если он осмелится еще раз сказать что-либо подобное, а вы на этом основании будете

требовать, чтобы я квартиру переменил, я прямо сообщу и о вас, и о нем губернатору.

Евстигней не ожидал такого отпора с моей стороны; он, вероятно, думал, что слова городового произведут на меня такое ошарашивающее впечатление, какое, надо полагать, произвели на него, и я исполню какое угодно требование. Но проявленное мужество, как это всегда бывает, подняло мой авторитет в глазах извозчика, и он тотчас же перешел на мою сторону.

— Вид-а с этою полицпею! Вон она где у меня сидит!

Евстигней показал рукою на свой затылок и повторил просьбу:

— Только вы, христа ради, ничего городовому не говорите...

— На этот раз я буду молчать, но если что-либо подобное повторится...

— Нет, я ему так и скажу, что, значит, мне ничего не известно,— моя хата с краю... Доглядай то-есть ты сам...

— Это самое лучшее... А вот, скажите, как же я спать буду?

— А не желаете ли у меня на полатях?— Там те-е-пло!..

— Отлично...

— Может закусите с нами?..

— Благодарю...

Взяв из своей комнаты постель, я полез на полати. Там было не только тепло, но душно. Снизу разил запах «яств» и сивухи, напоминавший нечто среднее между клозетом и анатомическим театром; доносился шумный говор охмелевшей деревни. К моему счастью я сильно устал от прошлой бессонной ночи и больших концов, сделанных за день, и потому скоро уснул.

Ранним утром я был разбужен голосами проснувшихся. Воздух был такой, что, как говорится, хоть топор вешай. Я наскоро умылся, оделся и поспешил на улицу, чтобы отдышаться. Назад мне не хотелось уже возвращаться. Я решил напиться чаю в каком-нибудь трактире, оттуда направиться в редакцию «Орловского Вестника», во что бы то ни стало найти там работу и нанять человеческое помещение.

Мне нужно было заручиться хотя бы небольшим постоянным заработком и такою квартирою, где я мог бы писать. Я не сомневался, что при таких условиях скоро стану на свои ноги при посредстве столичных органов печати.

В редакции «Орловский Вестник» меня принял Шелехов. Это был низенький, черненький и необыкновенно нервный че-

ловек. Он все ерзал на стуле, мял руками бумажки, стучал по столу карандашом и беседовал со мною, потупив глаза, словно бы конфузился смотреть на меня. Он сообщил, что в редакции имеется свободное место во «внутреннем отделе», но положение газеты, вследствие цензурных условий, так печально, что о мало-мальски сносном вознаграждении не может быть и речи.

Через некоторое время вышла молодая, симпатичная, пухленькая блондинка, фактическая владелица газеты, г-жа Семенова. Подтвердив сказанное Шелеховым, она сообщила ряд фактов, рельефно характеризовавших положение провинциальной прессы, но я ранее слыхал уже об этом.

В городе ходили в это время легендарные слухи в связи с переходом «Орловского Вестника» от Чудинова к Семеновой.

Опасаясь, что новая владелица органа «не сумеет ладить с цензором», о старом редакторе-издателе говорили, что он «держал цензуру в руках».

Способ «держания» был весьма оригинален: корова советника губернского правления, цензуровавшего газету, обыкновенно паслась в саду владельца газеты, но как только цензор начинал «пошаливать» со столбцами «Орловского Вестника», бедное животное подвергалось остракизму впредь до усмирения ее хозяина. Орловские обыватели так уж и знали: если, заглянув в дырочку забора, они видели в саду редактора цензорскую корову, то, значит, мир царил в редакции, а нет коровы — следовательно, владелец газеты воюет с цензором.

Говорили далее, что у газеты имелось четыре цензора: два советника правления, вице-губернатор и губернатор, требовавшие от «Орловского Вестника» удовлетворения своих личных взглядов и вкусов, совершенно игнорируя какие бы то ни было законы и задачи печатного слова. При таких условиях немыслимо было бы существование газеты, если бы, к ее счастью, все эти четыре распорядителя не были в ссоре: советники не ладили друг с другом, а вице-губернатор был на ножах с губернатором.

Этим обстоятельством и пользовался «Орловский Вестник».

Каждое утро деятельность редакции начиналась с того, что наводилась справка: «кто сегодня цензор?» И соответственно полученным сведениям направлялся к цензору материал: если цензором был советник губернского правления X, то посылались статьи, не пропущенные советником губернского правления Y-ом,

и наоборот[1]; если же цензорские обязанности исполнял вице-губернатор, то посылались статьи, не пропущенные обоими советниками плюс губернатором; в случае, если что-либо херил вице губернатор, редакция старалась провести их через губернатора и т. д.

Но это касалось лишь самых безобидных статей, по так называемым «общим» вопросам, беллетристических фельетонов, переводов и иностранных обозрений. Что же касается статей по жгучим вопросам общественной жизни и особенно фактов, характеризующих местную жизнь, то в этом отношении никакая «политика» не помогала: все цензоры немилосердно уничтожали такого рода статьи, доходя до невероятного абсурда в своем усердии.

Вследствие этого «Орловский Вестник» менее всего мог обслуживать свою губернию, и остроумный врач П. И. Якобий рекомендовал для провинциальной печати вообще «устроить заговор»,— сообщив о нем своим подписчикам,— в том смысле, чтобы газеты соседних губерний обменивались местными известиями: тульские, положим, газеты помещали бы сведения об Орловской губ., а орловские — о Тульской, так как тульскому цензору, конечно, нет дела до событий орловских, а орловскому до тульских,— и, таким образом, местная жизнь при посредстве соседней прессы получала бы более полное освещение. А подписчики получали бы и свою, и соседнюю провинциальную газету.

Вот до каких изворотов доходила обывательская мысль, не веря в возможность избавиться от цензорского произвола!

Помимо беспощадного истребления статей, ц е н з у р а, — особенно в лице губернатора, считавшего себя, к слову сказать, «литератором»,— с т р е м и л а с ь п р о в о д и т ь в г а з е т е с о б с т в е н н ы е в з г л я д ы.

О жалобе на произвол цензоров хозяева газеты боялись даже думать, совершенно не веря в защиту закона.

В результате моей беседы с Шелеховым и Семеновой я получил место «заведующего внутренним отделом» с платою по 25 руб. в месяц, при условии, что редакция издает бесплатно мою книжку «По тюрьмам и этапам», которую я думал составить из статей, напечатанных в «Отечественных Записках» и газете «Сибирь». Нужно ли говорить, что существовать на

---

[1] Иногда за одного из советников цензуровала его дочь, пятый блюститель над «Орловским Вестником». Редакции приходилось считаться и с этим обстоятельством, так как у «дочери» были самостоятельные вкусы.

25 рублей не было никакой возможности, но они обеспечивали по крайней мере плату за какую ни на есть квартиру, имея которую, я мог уже приступить к литературным работам, на каковые только и возлагал надежду. Вот почему, «получив место», я прямо из редакции отправился разыскивать квартиру, чтобы скорее могла приехать моя жена, все еще находившаяся в Житомире в худшем, чем мое, положении. Скоро я нашел три комнаты, кажется за 15 руб. в месяц, без отопления, воды и какой бы то ни было мебели. Отсутствие последней более всего тяготило меня. Я не мог не только писать, но не на чем мне было даже сесть. Что делать? Люди, с которыми я вчера только познакомился, были и малосостоятельные, да и неловко мне было с первого же раза обращаться к ним за довольно крупною, сравнительно, суммою для покупки мебели. Я решил поэтому сделать попытку приобрести ее в кредит. Дело было более чем рискованное, потому что у меня не только не было средств, чтобы уплатить долг, но и не знал я, когда они будут, не говоря уже о возможности высылки из Орла. Но другого выхода я не находил и... пошел по мебельным магазинам...

Само собою разумеется, что везде мне задавали вопрос относительно моего социального положения и средств. Я, конечно, ничего не утаивал, вызывая понятное удивление торговцев и отпор. Обескураженный полною, хотя и совершенно понятною неудачею в русских магазинах, окончательно истомленный, я решил уже итти к своим знакомым, чтобы посоветоваться, что делать, как увидел бедную еврейскую мебельную лавку и зашел, чтобы в ней последний раз попытать счастья.

Как и во всех мебельных магазинах, еврей задал мне вопросы, выясняющие мое положение. Но, к моему удивлению, он сразу не отказал, а заявил, что посоветуется со своим семейством. Долго сидел он в соседней с лавкою комнате и вышел в сопровождении жены и молоденькой дочери. Семейный совет решил выдать мне в кредит полную меблировку и даже доставить ее бесплатно на дом.

— Если человек говорит правду, — мотивировал хозяин резолюцию семейного совета, — то он не обманет: не будет у него средств — возвратит обратно мебель, а будут — заплатит. Если бы вы хотели обмануть нас, вы бы наговорили и то и се, но вы говорите «нет у меня службы и нет денег, а когда будут, — не знаю, но, если будут, — сейчас же уплачу».

Я был до такой степени растроган этим доверием, что не знал, как благодарить добрых людей. Чтобы не возвращаться более к этому инциденту, скажу, что мне, сравнительно скоро,

во всяком случае ранее назначенного срока, удалось выплатить деньги за мебель, и я, как и моя жена, за все время нашего жительства в Орле были в самых дружеских отношениях с этим еврейским семейством.

Таким образом, к вечеру я устроился уже на новой квартире. Старому своему хозяину я заплатил за полмесяца, что совершенно удовлетворило его.

Утром на другой день я направился в редакцию «Орловского Вестника», чтобы присмотреться к работе, и был изумлен предъявленным ко мне требованием... Оказалось, что под «внутренним отделом» хозяева понимают местную хронику, т.-е. в лице моем они видели репортера!

— Вы принесли что-нибудь? — встретил меня Шелехов.

— Что? — удивился я.

— Да вообще о городской жизни.

— Но я понятия не имею о городе, во-первых, а во-вторых, вы приглашали меня для «внутреннего отдела».

— Ну да-да, а что же вы подразумеваете под ним?..

И когда я выяснил, что такое по-моему мнению «внутренний отдел», редактор сказал:

— Нет, нет, это мы сами будем вести.

Безвыходное положение мое не давало возможности отказаться от работы, и я должен был с высоты заведующего отделом спуститься до репортера!

Но дело было не в самолюбии, не в том, что репортер считается, так сказать, плебеем литературы, а в этих убийственных условиях, в которые в то время была поставлена русская общественная жизнь; они были таковы, что не давали ровно никаких материалов для репортера. Сдавленная в тисках злостной реакции, общественная жизнь замерла на поверхности и должна была опять и опять скрываться в подполье.

Нет ничего удивительного, что репортеру приходилось оперировать с самыми элементарными данными, в роде указаний на плохие мостовые и тротуары, на недостаток фонарей, на грязь, и т. п. Да и об этом приходилось писать с оглядками. Выдающийся материал давали лишь метеорологические явления, о которых, смешно сказать, посылались даже телеграммы и корреспонденции в столичные газеты, как, например, о разлитии рек и раннем снеге, о ливнях и т. п. При этом репортер и корреспондент, стараясь придать интерес своим известиям, непременно прибавляли, что того-то и того-то «не запомнят даже старожилы», которые, к слову сказать, никогда и ничего обыкновенно не помнят и всему удивляются, включая и изменения

во временах года. Такие события, как появление бешеной собаки, особенно если она, к счастью репортера, кого-либо покусала, или чья-либо преждевременная смерть, самоубийство считались шедевром. Целый день, бывало, шатаешься по городу, допрашиваешь всех знакомых, — хоть умри, ни одного известия! Нужно ли говорить, что я спал и видел, как бы мне избавиться от «Орловского Вестника». Я ждал лишь, когда будет издана моя книжка, набиравшаяся только в свободное от других работ время, подыскивая себе другую работу, и стал писать в столичную прессу, главным образом в «Русские Ведомости». В конце октября 1886 г. киевская, тогда самая либеральная, цензура наконец дозволила к выпуску мою книгу.

Я категорически отказался от сотрудничества в газете, надеясь, между прочим, на «доходы» от книги. Но увы!

Некий английский издатель на запрос одного из авторов,— как расходится его книга, — ответил, что она представляет собой как бы священную реликвию: к ней покупатели боятся прикоснуться, и книга лежит на полках в том количестве, в каком была издана. Нечто подобное можно было сказать о моем изданном «Орловским Вестником» произведении «По тюрьмам и этапам». Отвратительная внешность, безобразная бумага, безграмотная корректура, невероятное количество опечаток делали мою книгу совершенно неудобоваримою духовною пищею, и она тотчас по выходе в свет сделалась, можно сказать, библиографическою редкостью: книготорговцы сразу оценили ее по достоинству и свалили в подвалы, чтобы при первом удобном случае сплавить антиквариям. Отзыв о ней я встретил лишь в «Русской Мысли». Он был весьма благоприятный, но опасаюсь, что вызван сочувствием к автору. Нужно ли говорить, что книга не прибавила в мой тощий кошелек ни медного гроша, и не было надежды, что когда-нибудь прибавит. Приходилось немедленно искать работы, чтобы, мало-мальски обеспечив удовлетворение самых элементарных нужд, приступить, наконец, к литературному труду.

Думать, собственно, долго не приходилось. Как русскому мужику, по словам знаменитого поэта нашего, была некогда только «одна дорога торная—дорога к кабаку», так точно для всякого рода «неблагонадежных», «бывших», «поднадзорных» интеллигентов была единственная почти «торная дорога»—в земскую статистику. Но и она строго охранялась церберами государственного строя. Наиболее типичными представителями такой категории субъектов в Орле являлись два лица: губернатор—Шидловский, и жандармский полковник—Дудкин. Первый был помешан на «престиже власти», которую понимал совер-

шенно так же, как и городовой Гл. Успенского — Мымрецов: «тащить и не пущать». В Орле существовала легенда, что, опасаясь, как бы кто не увидел губернатора в обыкновенном человеческом одеянии, Шидловский даже спал в полной форме с орденами, лентою и звездою. Во всяком случае факт, что с раннего утра он уже был во всех регалиях и принимал до смешного напыщенный вид. Низенький, кругленький, тщательно выбритый брюнет, Шидловский, наряженный в полную форму, напоминал языческого идола. По принципу он никогда не улыбался, даже глядя в театре оперетку. Шидловский требовал, чтобы все, не исключая и дам, на приеме у него стояли, и никому не подавал руки. Земства он, конечно, не мог выносить, и весь свой ограниченный ум изощрял на возможном принижении местного самоуправления, которое в его понятии совершенно не совмещалось с «престижем власти». Мало того, Шидловский свысока относился даже к «первенствующему сословию», не исключая и предводителей дворянства, хотя сам ранее был харьковским губернским предводителем дворянства. Чтобы показать свое превосходство над земством и выборным дворянством, он прибегал к разным способам. Между прочим Шидловский заставлял необыкновенно долго ждать себя при открытии земских собраний. Известят его о прибытии законного числа гласных часов в 12 дня, а он является в 2—3 часа пополудни. Орловцы говорили, будто земцы однажды возмутились, и гласные разошлись до открытия собрания. Но губернатор нисколько не смутился этим обстоятельством: явившись в пустой зал дворянского дома, он... открыл собрание!

Вторым ярким представителем существующего порядка являлся, как я уже сказал, жандармский полковник Дудкин.

Это был невежественный субъект, по слухам, из кантонистов. Он прошел огонь и воду. Начав службу с низших жандармских чинов, Дудкин затем был адъютантом знаменитого начальника Московского жандармского управления генерала Слезкина, главного руководителя сыскною частью в известном «процессе 193-х». В это время Дудкин проявил такой талант в области сыска, что быстро стал подниматься по служебной лестнице и дослужился до полковника.

В Орел он был переведен из Москвы. В глазах Дудкина все население, кроме чинов жандармского ведомства, было совершенно неблагонадежно. Он на всех смотрел, как на необнаруженных государственных преступников. Но излюбленными людьми его были — «обнаруженные», т.-е. бывшие политические ссыльные и новые, состоящие под гласным и негласным над-

зором. Они давали ему чистейший доход в виде солидных бесконтрольных сумм, а также чины и ордена. Перед каждым праздником Рождества христова и Пасхи у известного процента «неблагонадежных» всех категорий Дудкин, пользуясь «временными» правилами 1881 г. об охране, производил обыски и, конечно, кое-что находил. Это «кое-что» в правовом европейском государстве не представляло бы никакого повода для преследования, но у нас можно было признать преступным даже Евангелие. Восьмидесятые годы в этом отношении весьма напоминали режим Франции при Наполеоне III. Однажды там известный публицист Анри Рошфор, издатель и редактор знаменитого «Фонаря» («Lanterne»), выпустил в свет под фирмою «Фонаря» некоторые статьи самого императора, не назвав, конечно, автора. Этого было достаточно, чтобы французская цензура наложила veto на произведения Наполеона III. Тогда Рошфор обнаружил свою проделку и зло высмеял охранителей Франции. Наполеон был сконфужен, но ничего не мог поделать с Рошфором, издававшим в то время свой «Lanterne» в Брюсселе, куда бежал, будучи присужденным в Париже к тюремному заключению на 1 год, временному лишению гражданских политических прав и 10.000 франков. То же самое возможно было в 80-х годах и у нас, при чем Дудкин, по своему невежеству, превзошел в своем усердии многих других жандармов. Он сплошь и рядом возбуждал самые нелепые, не стоящие выеденного яйца «дела» и не только не пострадал от этого, а, наоборот, быстро шел по служебной лестнице. Нельзя сказать, однако, чтобы орловские охранители представляли какое-то исключение. Такие же, и даже много худшие, властители были во всей России. Во главе правительства стояли тогда обер-прокурор св. синода Победоносцев, министр внутренних дел Толстой и редактор «Московских Ведомостей» Катков. Они тщательно поддерживали и охраняли тот режим, который установлен был еще 8 марта 1881 г. в «погребальном» заседании Государственного совета, собранном для рассмотрения «куцой» лорис-меликовской «конституции». Какие же властители могли удовлетворить требованиям победоносцевской речи, одобренной верховной властью? Конечно, только самые мрачные реакционные карьеристы. Говорили, например, что черниговский губернатор Анастасьев высек в черниговском тюремном замке лишенного прав потомственного дворянина. Ошеломленное такою расправою, черниговское дворянство обратилось к прокурорскому надзору. Прокурор направил к губернатору одного из своих товарищей. Последний, возвратившись, заявил, что «Анастасьев показал ему

бумагу, в силу которой он, губернатор, может перепороть всех нас». Si non è vero è bene trovato, но об этом говорили, как о факте безусловно достоверном.

Суд в это время, а следовательно и прокурорский надзор, никакой роли не играл, ибо нормальный закон не только не действовал, но даже ссылка на него почиталась актом совершенно неблагонадежным. Законы заменялись «правилами» 1881 г. об охране, да бесчисленным множеством циркуляров. Много удивительнее, что дворянин был подвергнут телесному наказанию в момент наибольшего покровительства первенствующему сословию. Как из рога изобилия, в 80-х годах сыпались на дворянство благодеяния. В 1885 г. был открыт, по случаю столетнего юбилея дворянской грамоты, особый дворянский банк, сопровождавшийся манифестом, в котором говорилось, чтобы и впредь «дворяне российские сохранили первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного самоуправления и суда, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования». В благодарственных адресах дворяне заявили, что желают крепкой правительственной власти, которая дозволила бы им „спокойно жить в деревне". В 1889 г. было исполнено и это их желание: законом 12-го июня названного года вводились земские начальники, которым дана была чисто помещичья над крестьянами власть, и, таким образом, произошло частичное возвращение крепостного права. Стоит вникнуть во все дворянские реформы 80-х годов, чтобы убедиться, что они имели в виду исключительно крепостнический элемент. Не дворянство, как сословие, призывалось для разных „охран", а лишь сторонники рабовладельческих взглядов. Дворянин пользовался силою и влиянием лишь постольку, поскольку он проявлял крепостническую тенденцию и верность возведенному в культ лозунгу николаевских времен: „самодержавие, православие и народность". Дворянин же земец, даже дворянин, как избранник своего сословия, особенно же дворянин-либерал, не только считались вне привилегий, но и сугубо преследовались. Особенно неблагонадежными считались те из земцев, которые отстаивали земские прерогативы в рамках положения 1864 г. Вообще земство было бельмом на глазу бюрократии, и она употребляла все усилия избавиться от местного самоуправления. Задачу эту охотно взял на себя гр. Толстой. В своем проекте он низводил земство до уровня расширенной губернаторской канцелярии. Но в 1889 г., ненавидимый русским обществом, гр. Толстой умер, не успев погубить местное самоуправление. Возвращаюсь к Орлу.

Как я уже сказал, на пути моей жизни стояли губернатор Шидловский и жандармский полковник Дудкин. Говорили, что излюбленным утренним занятием этих „государственных“ мужей был просмотр фамилий прибывших или поселившихся в Орле за предыдущий день лиц. Они трепетали от удовольствия, когда среди последних находили фамилии, упоминаемые в проскрипционных списках. Тотчас же Шидловский и Дудкин, каждый на свой манер, изобретали скорпионы, чтобы уязвить крамольника. Само собой разумеется, что я был у них на примете с самого момента появления на орловском горизонте, и они уже имели в виду различные „меры“ для пресечения моего благополучия, если бы я возымел желание заполучить таковое. Но работа нужна мне была дозареза, и я вынужден был, во что бы то ни стало, преодолеть все преграды к ней. Я отправился к заведующему статистическим отделением Орловского губернского земства Е. П. Победоносцеву. Он принял меня чрезвычайно любезно, обещал сделать все возможное, чтобы дать мне работу, но предупредил, что, в виду моего прошлого, сделать это будет чрезвычайно затруднительно. „На статистиков,— пояснил он, — смотрят более чем подозрительно, — уже самый факт вступления в кадры их признается актом в высшей степени предосудительным, а у вас имеется еще и собственное слишком яркое „клеймо“. Пришлось выжидать благоприятного момента. Между тем средства нужны были ежедневно. При таких условиях жить с семьею было бы невозможно, если бы не орловское общество. Оно-то и вывезло меня.

Благодаря перечисленным выше знакомствам, я мог бороться с полицией, стремившейся лишить меня заработка и, таким образом, заставить удалиться из Орла. Не дождавшись этого, она обеспокоилась и как-то прислала околоточного узнать, — чем я занимаюсь?—Литературою, —ответил я. —Чем?— переспросил полицейский чин.— Ли-те-ратурою.— Но разве это занятие? — Представьте, что да.— Нет уж, простите, я напишу, что вы не имеете определенного занятия.— Ваше дело...—Взгляд околоточного надзирателя на литературу являлся точным отражением взглядов на нее и Шидловского, и Дудкина, и всех других губернаторов и жандармов, до главы их — министра внутренних дел — включительно. Литература, действительно, не только не считалась «занятием», заслуживающим внимания, «определенным», но она еще являлась несомненною характеристикою неблагонадежности. Конечно, такое отношение к литературе полицейских невежд и высокопоставленных Фамусовых только поднимало значение печатного слова и его представителей, но

в то же время эти невежды могли отравить существование. При полном произволе, при неограниченной власти администрации последняя могла, указывая на отсутствие «определенных» занятий, выслать меня из Орла. По крайней мере такие случаи бывали с бывшими ссыльными. Надо было поскорее куда-нибудь пристроиться, чтобы было на что сослаться помимо литературы. Я стал надоедать Е. Н. Победоносцеву и в конце 1887 г. кое-как просунулся в статистическое бюро.

Положение последнего было в высшей степени шаткое. Земская статистика, возникшая впервые в Вятской губернии, в 1870 г., через шесть лет после введения земских учреждений, представляла чрезвычайно оригинальное, вполне самобытное русское явление, подобного которому не было в других странах. В основу ее было положено сплошное исследование на местах жизни населения, изучение всех факторов народного богатства. В 1871 г. приступлено было к экспедиционным работам в Тверском земстве, в 1874 г. в Херсонском. Но закрепление земской статистики, права гражданства она получила, на мой взгляд, лишь в 1875 г., когда возникли статистические бюро в Московском и Черниговском губернских земствах. Решающую роль здесь сыграли выдающиеся заведывающие бюро: в Московском земстве—В. И. Орлов, в Черниговском—П. П. Червинский. Они выработали своеобразные методы статистических работ, которые приняты были другими земствами, при чем южные земства, черноземные, в общем, руководились черниговским методом, а северные — суглинистые — московским. В нашу задачу не входит разбираться в статистических методах, а потому мы прямо перейдем к Василию Ивановичу Орлову, организовавшему статистическое бюро, помимо Московского земства, еще в земствах—Воронежском, Курском, Тамбовском и Орловском. По его указаниям названные земства приглашали и заведующих, при чем в Орловском земстве ставленником Орлова был кандидат прав Е. Н. Победоносцев. Уже это одно обстоятельство гарантировало полную добропорядочность Орловского статистического бюро. Василий Иванович заведующими рекомендовал лиц, вполне просвещенных и вообще порядочных.

Сам Орлов по окончании Московского университета по юридическому факультету был оставлен при университете для подготовления к профессорскому званию по кафедре общественного права. Но Василий Иванович был слишком живой человек, чтобы запереть себя в кабинете. Его природа более склонна была к широкой общественной деятельности, и он избрал земское поприще. Когда в 1875 г. Московское земство



М. Натансон



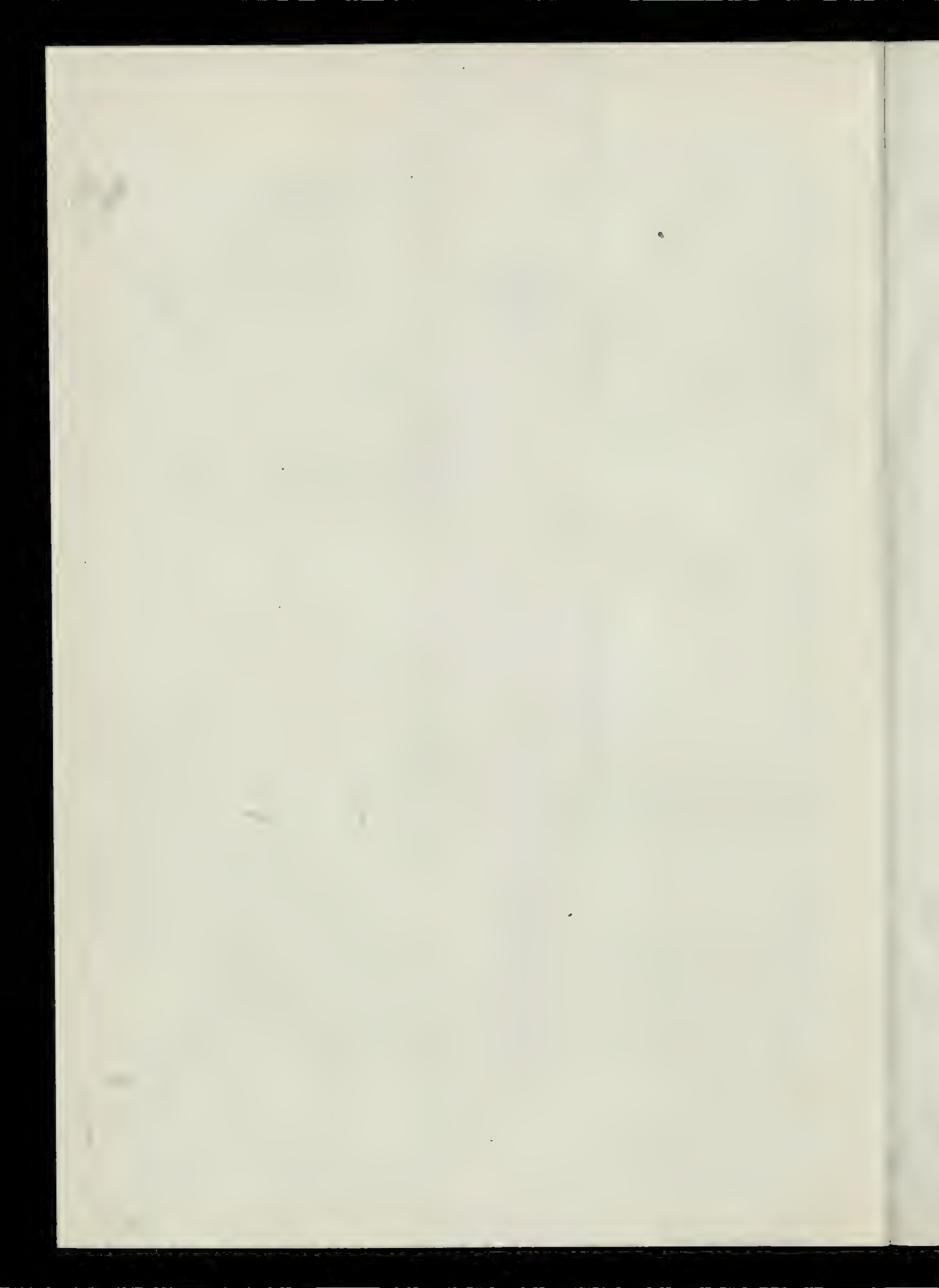
А. В. Пешехонов



А. И. Иванчин-Писарев



В. К. Руднев



обратилось к Орлову, читавшему статистику в Александровском военном училище, с предложением организовать бюро при губернской управе, он охотно взялся за это, а потом, как мы уже говорили, организовал работы и в других земствах. Однако в 80-х годах земская статистика близка была к полной гибели, как, впрочем, и самое земство.

Для земской статистики, после короткой «весны» в первой половине 70-х годов, в 80-х сразу настала зима. Холодом повеяло и от крепостников-дворян, и от правительства. Первые испугались, что статистики, разъезжая по селам и деревням и расспрашивая каждого домохозяина, вскроют всю подноготную экономического положения крестьянства, а полиция боялась пропаганды среди народа. Реакционное дворянство с удовольствием восприняло эту последнюю точку зрения, и на статистиков посыпались доносы как со стороны помещиков, так и со стороны полицейских властей.

И было немало формальных данных, чтобы «бояться» статистиков. Первые кадры их, несомненно, образовались из активных народников, тех, что или «ходили» ранее в «народ», или видели в экспедиционных работах осуществление их мечты — проникнуть легально в народную среду и детально изучить ее. Вообще в первое время земскими статистиками делались люди принципиальные, искренно стремившиеся принести народу пользу, как они ее понимали: и только этим обстоятельством можно объяснить быстрое развитие земской статистики при самых неблагоприятных условиях для статистиков. В самом деле, служба в статистическом бюро не только не делала карьеры, но, наоборот, компрометировала каждое лицо, вступившее в него, накладывая неизгладимое клеймо неблагонадежности. Затем, оплата статистического труда была нищенская, а он требовал массы времени и сил, не говоря уже о тех лишениях, которые приходилось претерпевать статистику во время объезда сел, деревень и хуторов.

Но идейные люди все это выносили, не замечая даже трудности своего пути. Сплошь да рядом бывали такие случаи, что статистики, отправившись раннею весною на исследования, так увлекались подворною переписью, что в течение всего лета не возвращались в город за получением жалованья, перебиваясь в селениях, чем бог послал. Заведующие бюро нередко вынуждены были «разыскивать» служащих, пропавших, как говорится, без вести, чтобы снабдить их деньгами. И часто поиски эти были тщетны. Только к концу лета возвращались статистики, исполнив свои работы.

Орловское статистическое бюро напоминало, по отношениям к нему губернской земской управы, заразный барак. Водворенное в третьем этаже, оно было совершенно изолировано от губернской земской управы. Ни председатель, ни члены управы не переступали порога бюро, а служащие боялись посещать его, чтобы не скомпрометировать себя в смысле благонадежности. Управа сносилась лишь с заведующим и знать не хотела остальных служащих. Только при получении жалованья приходилось иметь дело с членом управы Римским-Корсаковым, которого далеко нельзя было упрекнуть в любезности по отношению к статистикам, а нередко он был до неприличия груб с ними. Е. И. Победоносцев, повидавшись с членами управы, ежедневно сообщал сюрпризы для статистического отделения. То «полиция требует список всех его служащих», то «губернатор указывает на неблагонадежность статистиков», то «получен донос» из какого-нибудь уезда, то «не утвердили» такого-то, а у такого-то «был обыск и отобраны статистические материалы». Заведующему сплошь да рядом приходилось «выручать» у жандармов отобранные при обысках данные исследования. Но особенно тяжкое положение создавалось в момент приготовления к экспедиционным работам и при объездах. Для подворных переписей, помимо постоянных служащих, необходимо было приглашать временных «регистраторов». Вот тут и начиналась процедура. Невзирая на существование определенного закона, что администрация обязана в течение не более двух недель дать положительный или отрицательный ответ о посланных на ее утверждение лицах, орловский губернатор, как, вероятно, и все губернаторы, не обращал на этот закон никакого внимания. Для земства создавалось невозможное положение, весьма часто грозившее серьезною опасностью для населения. Вспыхнет, например, эпидемия в каком-либо уезде, а губернатор ничего не отвечает на бумаги, в которых земство, прилагая документы медицинского персонала (врачей, фельдшеров, сиделок и т. п.), просит разрешить им ехать для борьбы с эпидемией. Население мрет, а администрация, «выясняя благонадежность», не дозволяет лечить его! Со статистиками возни было еще больше. Земству поэтому приходилось воровским образом производить работы. Оно на свой страх и риск посылало неутвержденных лиц впредь до ответа губернатора. Благодаря этому обстоятельству, и мне впервые, в 1888 году, удалось конспиративно побывать на переписи. Конспиративно, потому что когда губернская управа, по настоянию заведующего статистическим отделением, сделала обо мне представление, сославшись на буллу Департа-

мента полиции, Шидловский разрешил мне только заниматься в бюро, но без права разъездов для исследований, что лишало меня возможности своего заработка, так как в статистическом отделении чувствовался недостаток в регистраторах.

Мне рекомендовали лично переговорить с губернатором, но я не решался на такой шаг, опасаясь «осложнений» в случае, если Шидловский проявит по отношению ко мне одну из прерогатив «сильной власти», как он ее понимал.

Знакомство мое с орловским губернатором произошло немного позже, при еще менее благоприятных для меня обстоятельствах.

Но об этом — ниже, а сейчас скажу, что, вступив в ряды земских статистиков, я скоро убедился, что на последних глазами администрации смотрит и реакционная часть земства, и губернская управа.

Следует заметить при этом, что администрация употребляла все усилия, чтобы сохранить за статистикой революционный престиж, если можно так выразиться.

Реакционным гласным, каковых всегда не мало было в Орловском земстве, «провалы» статистики были наруку, и на земских собраниях то-и-дело пускали стрелы в статистику, при чем на одном из них, по настоянию крепостнических элементов, было сделано единственное в своем роде постановление относительно статистиков.

Им воспрещалось при переписи населения не только произносить какие бы то ни было «междометия», но даже делать... «отрицательные телодвижения»...

И тут же приведены были пояснения.

Если, например, на вопрос статистика «сколько лошадей?» крестьянин ответит «ни одной», то статистик не имеет права выразить сожаления, удивления или тем более сострадания знаками удивлений: «О-о!», «А-а!», «Ох!», «Ах!» и т. п., также и при посредстве молчаливого «подымания плеч», «расширения глаз», «наморщивания лба» и т. д.

То же самое при всяких вопросах, ответами на которые характеризуется печальное экономическое положение крестьян: малоземелье, бездомовность, задолженность и т. д.

Мне думается, что после всего приведенного вряд ли есть основание еще доказывать тяжесть условий статистической службы.

До ссылки я не имел почти представления о земстве потому, что, как радикал, относился свысока к этому «буржуазно-дворянскому учреждению».

Лишь сделавшись народным учителем, когда я воочию убедился в глубочайшем невежестве неграмотной деревни, я пришел к сознанию необходимости, во-первых, детального изучения народной жизни и, во-вторых,— неотложности просвещения. Тогда я понял громадное значение земства, но ссылка прервала мою деятельность в этом направлении. Однако взгляды мои не изменились, и легальное изучение деревни осталось моею мечтою. И вдруг мечта эта сбылась! К своей работе я приступил с священным благоговением. В первый же день в моих руках очутились неоцененные материалы, подлинные человеческие документы, настоящая, как она есть, крестьянская жизнь, в раны которой, выражаясь фигурально, я вложил свои персты. Почти одновременно стали налаживаться и литературные мои дела. В «Русских Ведомостях» то-и-дело появлялись мои обширные корреспонденции, а в конце 1888 года был принят мой первый фельетон — «Среди сибирских инородцев».

В то же время надо мною собиралась гроза, разразившаяся весною 1889 г.[1] В этом году в Орле арестован был маститый революционер-якобинец Петр Григорьевич Зайчневский. Землевладелец Орловской губ., Мценского уезда, сын генерала и княгини Юсуповой, на которой был женат отец, Зайчневский уже в раннем юношеском возрасте вступил на революционный путь, с которого не сходил до самой кончины. Впервые он был арестован 19-ти лет и приговорен на каторгу, за произнесение публично речей «возмутительного» содержания в г. Подольске к крестьянам и в ограде московской римско-католической церкви к полякам и распространение запрещенных фотографированных и печатных сочинений. Резолюцией царя 1 ноября 1862 г. срок каторги был уменьшен до одного года.

После каторги Зайчневский был водворен на поселение в Забайкальской области, а в 1869 г. получил разрешение на возвращение в Россию, при чем был восстановлен во всех правах. В период времени между первым возвращением и орловским

---

[1] Это совпало с кончиною великого русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова. В девятый день после его смерти, 7 мая 1889 г., я в числе других «неблагонадежных» отпечатал краткую биографию Щедрина, пригласив граждан отслужить заупокойную о нем панихиду, которая и состоялась в 11 ч. утра в названный день в церкви Михаила архангела. Шидловский и Дудкин, конечно, узнали об этом «революционном» акте, и церковь заполнена была жандармами и городовыми. Но это не запугало орловцев, и они в большом количестве собрались на панихиду, эту единственную возможную тогда форму поминовения таких писателей, каким был Салтыков.

арестом Зайчневский был административным порядком, сроком на пять лет, выслан в северные губернии Европейской России.

При первом после ссылки приезде в Орел, в начале 70-х годов, Зайчневский столкнулся с замечательным человеком,— действительным студентом Александром Капитоновичем Маликовым. Сначала каракозовец, преданный суду за участие в сообществе «Организация», он затем в 1873 году получил «откровение» и основал богочеловеческую религию. Силою таланта и глубокой убежденности Маликов вовлек в свою религию, заставив уйти из революционной среды, артиллеристов Теплова, Антова и даже известного революционера Николая Васильевича Чайковского, с которым впоследствии уехал в Америку, где и устроил религиозную коммуну. Революционеры, а в том числе и Зайчневский как якобинец, были весьма взволнованы проповедью Маликова и старались дать ему отпор. В эти годы Зайчневский пользовался еще значительным авторитетом. Среди его сторонников была орловская помещица, выдающаяся женщина, М. П. Оловенникова, по мужу Ошанина. Центром ее бесплодной якобинской работы был не Орел, а Москва. Впоследствии она вошла в Исполнительный Комитет «Народной Воли».

Возвращаясь к орловскому делу Петра Григорьевича, скажу, что с ним я был очень мало знаком и решительно никаких деловых отношений у меня с ним не было. Встречал я его раз пять-шесть у общих знакомых. Высокого роста, с громадной шевелюрой седых волос на большой голове, с крупными чертами лица, Зайчневский производил впечатление высокопросвещенного, искреннего, сердечного и чрезвычайно добродушного человека. Трудно было поверить, что он был когда-то сторонником беспощадной кровавой революции, как это значилось в известной прокламации 1860 г. «Молодая Россия», в составлении которой Петр Григорьевич участвовал.

Для Дудкина Зайчневский представлял более чем лакомый кусок. Вымыслить «дело» с участием лица столь известного, еще раз «спасти» Россию от такого крупного «разрушителя основ»—для жандармов было более чем заманчиво, ибо такого рода «государственное дело» сулило, конечно, великие милости. Дудкин долго подкрадывался к Петру Григорьевичу и, наконец, в 1889 году набросился на свою добычу. Одновременно он произвел обыск и арестовал знакомых Зайчневского. Конечно, как и при всяких обысках, кое-что было найдено.

Между прочим, у кого-то в Саратове, кажется, у совершенно неизвестного мне какого-то Кандыбы, найдено было письмо,

в котором кто-то писал из Орла, что я «нисколько не изменился в ссылке» и «возвратился бодрым и энергичным». А при обыске в Петербурге у инженера Н. Н. Виноградского найдено было письмо учительницы гимназии К. Н. Дмитрюковой, в котором говорилось, что я думаю «издавать газету».

Еще в каком-то письме я назывался не Белоконским, а литературным псевдонимом моим «Петрович», проставленным, к слову сказать, рядом с моею фамилией на выше названной книге моей «По тюрьмам и этапам». Вот этих-то писем было совершенно достаточно, чтобы произвести у меня обыск, при котором найдены были письма ко мне Кеннана на английском языке и несколько глав из его статей «Siberia and the exile system», печатавшихся в это время в американском «The Century Magazine», редакция которого посылала Кеннана в Сибирь. Скажу здесь к слову, что когда этот американский публицист получил письмо от моей жены с извещением о постигшем меня бедствии, то, как мне тогда передавали читавшие, прислал в лондонское «Times» телеграмму, гласившую: «Мой друг Белоконский арестован». И должен сказать, что слово «друг» не было пустым звуком. Кеннан назвал меня «своим другом», еще когда уезжал из Минусинска. Но, по правде сказать, я думал, что это простая любезность. Полагаю, что большую роль в моем сомнении сыграло впитанное с молоком матери недоверие к «хитрым англичанам и янки». Как, вероятно, и всякий народ, мы только самих себя считаем верхом сердечности, доверия и искренности, чего в действительности, конечно, нет. Оказалось, однако, что Жорж Кеннан не пускал слов на ветер. Как только сообщил я ему о своем освобождении и приезде в Европейскую Россию, он тотчас же завел со мною переписку. Но как гражданин свободной страны, Кеннан, не взирая на знание России, все же никак не мог освоиться с российским бесправием, произволом, полным отсутствием гарантий личности и жестокими преследованиями за проявление малейшего свободомыслия. Поэтому первые письма его были до такой степени неосторожны, что я, уничтожая их, поспешил попросить писать с опаскою. Он, извиняясь, обещал «исправиться», но не мог свободный человек унизиться до уровня полицейского государства и продолжал писать такого рода письма, что пришлось подавляющее большинство их, с великим горем, предавать огню. И хорошо я сделал: если бы их нашли у меня, — не миновать бы мне вторично Сибири.

Дружба Кеннана проявилась и в том, что он предложил мне сотрудничать в «The Century Magazine». Я и хотел восполь-

зоваться этим вполне дружеским и крайне важным для меня предложением, но арест не позволил сделать это.

Перехожу к обыску. Помимо печатных оттисков статей Кеппана, найдены были переводы их, чем занималась жена. У нее же отобрали приобретенную в одном из московских книжных магазинов изданную в Париже книгу Леруа-Болье «L'Empire des Tsars les Russes». Одну главу из этой книги, относящуюся к Сибири, перевел я, остальные переводила жена. Все это забрали. Наконец, у меня нашли материалы по устройству вечера в пользу Литературного Фонда. Они-то и послужили материалом к сочиненному Дудкиным высоко-комичному делу, на котором считаю нужным остановиться.

У меня до сих пор сохранилась программа этого невинного музыкально-литературного вечера любителей 18 апреля 1887 года в зале Дворянского собрания, «с благосклонным участием виолончелиста, профессора Краковского музыкального института, Сигизмунда Апполинариевича Контского». Виновником вечера было Общество для пособия литераторам и ученым. Оно обратилось в газетах с воззванием к писателям, чтобы они посодействовали увеличению средств Общества путем устройства литературных вечеров, лекций и т. п.

Я тотчас же ответил, что охотно сделаю все от меня зависящее, чтобы осуществить проект Общества.

На это от Н. С. Таганцева я получил письмо,— от 1 марта 1887 года, за № 18,— в котором он уведомлял, что «Комитет Литературного Фонда поручил мне выразить свою признательность за ваше благое намерение — устроить чтение или вечер в пользу Фонда и просит не откладывать исполнение этого намерения. На устройство этого вечера он дает вам полное свое полномочие».

После этого я принялся за устройство вечера, но тотчас же выяснилось, что одному мне, мало знакомому с орловским обществом, довести дело до конца было почти невозможно. и я обратился за содействием к нескольким лицам и между прочим к ныне, к слову сказать, покойному Н. А. Вербицкому, о котором говорил выше.

Скоро сообщили мне, что если я соглашусь, то, возможно, с надеждой на успех, устроить литературно-музыкальный вечер с тем, чтобы часть сбора пошла в пользу недостаточных учениц гимназии, а другая — в пользу Фонда. Я, понятно, принял эти условия и тогда уже взялся за дело при поддержке многих лиц.

Как-раз в это время в Орел прибыл вышеупомянутый Контский. Я немедленно обратился к нему с просьбой принять участие в нашем вечере.

Контский охотно изъявил согласие без всякого вознаграждения «играть в пользу писателей», при чем жена его, немка, урожденная Путкамер, поставила условием, чтобы об игре Контского сделан был отзыв в печати. Я обещал обратиться к сведущим лицам и выразил надежду, что отзыв появится в местной газете, т.-е. в «Орловском Вестнике».

Для Орла вечер прошел весьма удачно, дав чистого дохода 160 руб., из которых 80 руб. я получил для Литературного Фонда, не помышляя, конечно, чтобы через два года они послужили одною из существенных улик для обвинения меня в... «государственном преступлении»!

А это именно и случилось.

Первая оплошность, которая впоследствии имела чуть не решающее значение в моем «государственном преступлении», была сделана мною при отправке названной суммы в Литературный Фонд.

Когда я нес 80 руб. на почту, то совершенно случайно нагнал Вербицкого, шедшего по направлению к почте же. Не помню теперь почему, но я обратился к нему с просьбой, чтобы он сдал деньги. Вербицкий, участвовавший в вечере, конечно, согласился, отправил деньги, при чем у него осталась почтовая расписка, которую он затем увез с собою в Чернигов, куда уехал на каникулы. Об этой расписке я забыл, тем более, что ее вполне заменяло нижеследующее письмо ко мне Н. С. Таганцева от 1 мая 1887 года за № 49: «Комитет Общества, выражая вам свою признательность за устройство вечера 18 апреля, покорнейше просит передать его глубокую признательность участникам».

Следует, наконец, упомянуть, что от 16 мая того же 1887 года, за № 191, я получил печатное официальное уведомление, что «по предложению Комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, в общем собрании 3 сего мая», я избран членом Общества, известного под именем Литературного Фонда, которому в 1887 году минуло 30 лет.

Казалось бы, что приведенных данных вполне достаточно, чтобы не сомневаться, во-первых, в существовании законного общества, именуемого «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым», во-вторых, что я — законный и действительный член этого общества и, в-третьих, что я был одним

из устроителей **разрешенного** властями вечера, половина чистого сбора с которого предназначалась в пользу Литературного Фонда.

И тем не менее вечер вызвал для меня самые невероятные чисто-гоголевские или щедринские, если можно так выразиться, последствия.

Прежде, однако, я должен сообщить еще один юмористический эпизод, сыгравший самую видную роль в этом «деле».

Контский из Орла направился концертировать в поволжские города, а затем в Сибирь. Его жена просила поэтому выслать тот нумер «Орловского Вестника», в котором будет помещен отзыв об игре мужа, в Саратов или Самару, не помню уже. Но Вербицкий, который согласился написать заметку, забыл это сделать, и поэтому «Орловского Вестника» никуда мы не посылали.

Контская имела все основания быть нами недовольной, и скоро от нее я получил письмо, в котором она, повидимому, пронизировала по моему адресу и делала запрос, где же обещанная газета с отзывом об игре.

Говорю «повидимому», потому что Контская плохо знала русский язык, и ее письмо было составлено на непонятном наречии, где были и польские, и русские, и немецкие слова, но о содержании послания можно было лишь догадываться.

Если мне не отказывает память, я поспешил вдогонку Контским послать разъяснение, а письмо Контской вложил в металлическую руку, прибитую на стене, и в ней оно спокойно пролежало два года.

Но через два года именно и был у меня произведен обыск, взято было и названное письмо Контской, давшее один из главных аргументов для обвинения меня... в «государственном преступлении»!

Должен признаться, что когда опять, ровно через десять лет после первого ареста, захлопнулась за мною дверь камеры, меня охватило тяжелое чувство. Прежде всего в этом настроении сыграли роль, конечно, годы. Впервые я был ввергнут в тюрьму почти юношей, а теперь мне исполнилось уже тридцать четыре года. К этому прибавилось еще чувство досады, что арестован я ни за что ни про что. Когда я обратился с требованием—объявить мне причину заключения в острог, то получил бумажку, из которой было ясно, что без суда и следствия я административным порядком брошен был в тюрьму за какую-то «политическую неблагонадежность». При этом любопытно, что

никакой «товарищ прокурора» не удостоил хотя бы из приличия проставить свою фамилию.

Самое ужасное чувство, охватившее меня, это было чувство беспомощности. Мрак реакции был так беспросветен, произвол так ужасен, что терялась вера в самое элементарное правосудие и мучила мысль о возможности вторичной ссылки уже без всякого основания, и о полной необеспеченности всего семейства. «Что будет делать мой верный друг, моя дорогая жена?»— терзался я вопросом. Но первое же свидание с Валерией Николаевной не только успокоило, но окрылило меня. Подавив горе, затаив муки, она, бодрая и веселая, явилась ко мне в сопровождении адъютанта Дудкина, молодого жандармского офицера Кравченко, не без гордости, к слову сказать, заявившего, что он—родственник известных князей П. А. и А. А. Кропоткиных, из которых Алексей Александрович был со мною в ссылке в Минусинске.

Жена немедленно стала утешать и ободрять меня. «Боже мой,—при этом думал я,—что бы было при таких условиях с женою-мещанкою (конечно, не по происхождению, а по внутреннему содержанию), с женою-обывательницею! Сцены, жалобы на судьбу,—как жить? что делать?.» Но ничего подобного не было с Валериею Николаевною. Свое экономическое положение она представляла в блестящем состоянии. В доказательство принесла мне, помимо предметов первой необходимости, еще и много лакомств. И в течение всех 9 месяцев моего заточения я не только ни в чем не нуждался, но всего, что дозволялось иметь в тюрьме,—было у меня в изобилии. Валерия Николаевна снабжала меня и книгами. Наконец, в одно из свиданий, она сказала:

....Помни, мой друг, что — какая бы ни постигла тебя судьба—я, как и раньше, разделю ее с тобою и уеду, если нужно будет, туда, куда тебя пошлют».—А семья?—спросил я, еле сдерживая слезы благодарности.—«Как-нибудь устроимся.— ведь жили же как-то до сих пор». Словом, жена опять и опять являлась мне ангелом-хранителем, моею отрадою и незыблемою поддержкой.

Ко мне Дудкин сразу предъявил нижеследующие обвинения: 1) что в письме Контской говорится, несомненно, о «запрещенной» газете или газетах и 2) что вечер, в котором я принимал деятельное участие, несомненно, устраивался в пользу ссыльных или на какие-либо другие революционные цели. Что же касается Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, то о таковом он, Дудкин, не слыхал, а потому пове-

рит в его существование, когда таковое будет удостоверено Департаментом полиции. Буде последний уведомит, что названное Общество действительно существует, то я обязан представить почтовую расписку, которая только и может убедить его, Дудкина, что 80 рублей посланы именно в это Общество, ибо никакого Таганцева он, Дудкин, не знает, да и вообще всякого рода письма и бланки нетрудно «подделать».

Но и приведенного для начальника Орловского жандармского правления было недостаточно: Дудкин считал непременнейшим условием разыскать Контских и учинить Контской допрос по поводу ее письма, которое он считал конспиративным, своеобразно зашифрованным.

Таким образом, в перспективе мне предвиделось продолжительное сиденье в одиночном заключении, тем более, что я считал невозможным сослаться на Вербицкого, не без основания опасаясь, что его лишат места учителя, а Н. С. Таганцев летом 1889 года уехал из Петербурга на все время каникул, и я не мог получить официального утверждения, что деньги Обществом получены.

Раздумывая, что же мне предпринять, чтобы вырваться из рук Дудкина, я решил, впредь до возвращения в Орел Вербицкого и в Петербург Таганцева, бомбардировать прокурорский надзор.

Прокуроры — Орловского окружного суда Хрулев и Харьковской судебной палаты Закревский — признали полную основательность моих заявлений и всецело стали на мою сторону.

Первый из них вызвал меня как-то в суд и просил «не озлобляться» за необоснованный арест, заявив в то же время, что прокурорский надзор бессилен бороться с жандармами в момент следственного производства, но, как только последнее будет передано прокурорскому надзору, я буду освобожден. Закревский в бытность свою в Орле посетил меня в тюрьме и сказал почти то же, что и Хрулев, пообещав тоже освободить по окончании следствия. «Но когда оно закончится, сказать трудно,— добавил он,— мы ничего не можем сделать с жандармами».

Дудкину, несомненно, известно было благоприятное отношение ко мне прокурорского надзора, и он сознательно затягивал «дело», решив во что бы то ни стало, «в пику прокурорам», добиться моей ссылки.

Он до такой степени был уверен в своем успехе, что однажды, явившись ко мне в камеру, сказал:

— Вы — человек талантливый, писатель, и вам недурно будет в Сибири.

Между тем, и жена моя писала жалобы и письма в Петербург.

Когда по окончании каникулярного времени Н. С. Таганцев возвратился в столицу, тотчас же Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым, за подписью секретаря В. Семевского и с приложением сургучной печати, прислало нижеследующее официальное удостоверение от 7 сентября 1889 года, за № 379: «Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым сим удостоверяет, что И. П. Белоконский доставил в 1887 г. в Общество 80 руб., полученные с устроенного им 18 апреля в городе Орле литературно-музыкального вечера в пользу Общества, как видно и из печатного отчета Общества за 1887—1888 г. (стр. 15)».

Казалось бы, что приведенного удостоверения вполне достаточно, чтобы убедиться как в законном существовании Литературного Фонда, так и в полнейшей легальности вечера. Принимая же во внимание, что все остальные «обвинения» мною были опровергнуты, Дудкин должен был закончить предварительное следствие и препроводить «дело» прокурорскому надзору.

Но, увы, — пришлось мне еще доказывать Дудкину, что Кеннан — не то же самое, что Ренан, о котором что-то когда-то слышал полковник, как о неблагонадежном писателе. Когда же это недоразумение было благополучно рассеяно, Дудкин ни за что не хотел верить, что с американским писателем Кеннаном я познакомился в Сибири, куда названный Кеннан ездил с разрешения правительства, и что письма ко мне Кеннана являются результатом моего личного с ним знакомства.

Он держал «дело» у себя и морил меня в одиночном заключении, от которого, как, вероятно, и от ссылки, избавил меня только Н. С. Таганцев.

Получив от жены письмо, в котором она подробнейшим образом сообщила содержание «дела», Н. С. Таганцев, — судя по сообщению, присланному потом жене С. Н. Южаковым, — показал письмо жены тогдашнему министру юстиции Манассеину, который немедленно по телеграфу и сделал распоряжение об освобождении меня из тюрьмы.

Нужно ли говорить, что Дудкин был вне себя от негодования за подобное «вмешательство» в «его», Дудкина, «дело»,

и, конечно, не без его содействия мне все же назначили... три года гласного надзора!

Вот во что обошелся мне вечер в пользу Литературного Фонда!

Жандармский полковник лелеял мечту, что оно, это изобретенное им «дело», сулит главному действующему лицу, быть-может, каторгу, а остальным — ссылку на поселение или, во всяком случае, административную ссылку в Сибирь. Но вышло несколько иначе. Если Дудкин и добился, что Зайчневского — ни за что, ни про что — выслали на пять лет в Восточную Сибирь, то для меня дело закончилось гласным надзором в Орле.

Чтобы не возвращаться более к П. Г. Зайчневскому, всю жизнь не изменявшему своих взглядов, о которых можно быть разного мнения, скажу здесь, что, возвратившись третий раз из ссылки, он в 1895 году якобинцем скончался в Смоленске.

Возвращаюсь к моей судьбе.

Только по выходе из тюрьмы узнал я, как и чем жила моя жена. Во-первых, по ее письму, мне выслан был аванс из «Русских Ведомостей», а во-вторых, и это главное, Валерия Николаевна, получая тайно сдельную работу из статистического бюро, трудилась от зари до зари, чтобы обставить мою тюремную жизнь всеми возможными удобствами. Я сказал, что жена получала работу «тайно». Почему? — может возникнуть вопрос у лиц, не переживавших 80-х годов — ведь она же не совершила никакого преступления? Да, но это взгляд европейский, а у нас руководствовались азиатскими обычаями: если даже неосновательно обвиняют кого-либо в «государственном преступлении», то отвечает не только он сам, но и все родственники и даже знакомые. Поэтому статистическое бюро под страхом больших неприятностей, включая закрытие, не имело права «жене преступника» давать работу.

Дико, но это факт. Противовесом такой дикости, граничащей со зверством, была тайная, но упорная оппозиция со стороны общества, изобретавшего все способы, чтобы бороться с свирепством административной оргии. Между прочим, мои знакомые нередко присылали через жену все, что только принималось в тюрьме. Благодаря всему сказанному, я без труда перенес 9-месячное одиночное заключение.

Вышел я из тюрьмы в декабре 1889 г.

Об этом узнали в Москве, где в это время у Баташовых гостил Н. А. Вербицкий. И вот от всех проживавших в том милом, гостеприимном доме на визитной карточке доктора

П. М. Васильева Вербицкий набросал во имя мое такое шестистишье, присланное мне немедленно по почте:

Того, кто вышел из тюрьмы,
Сердечно поздравляем мы,
И мудрый врач, и пациент,
И весь почтенный контингент,
Живущий возле Ермолая,
Добра вам всякого желая.

А между тем мне на свободе было почти то же, что в тюрьме.

В течение всей жизни я не переживал более томительного, серого, пошлого и жестокого периода. Он был крестом для 60-х и 70-х годов. Все думающее, мыслящее, стремившееся к свету, истине, знанию, — все это было загнано в подполье. На поверхности царили ничтожные, жалкие «чеховские» типы, принижавшие и оскверняющие все высокие мечты и идеалы, к которым только прикасались. Пресса была окончательно придушена. Царили лишь три «подлые», как их называли, газеты: «Московские Ведомости» Каткова, «Киевлянин» Шульгина и «Южный Край» Иозефовича.

Любопытно прошлое главных руководителей этих органов. М. Н. Катков, по окончании Московского университета, состоял в кружке Станкевича, при чем дружен был с такими членами его, как Белинский и Бакунин. Уехав 22-х лет за границу, он, возвратившись в Россию и получив в 1845 г. кафедру философии, изменил свои взгляды и с этого времени правел все более и более. Но до 1863 г. Катков все же был либералом. Лишь с этого года, именно с начала польского восстания, Катков уже круто свернул по пути реакции и в 80-х годах достиг апогея в этом направлении, с пеною у рта набросившись даже на земство и суд.

И В. Я. Шульгин, в качестве историка, многие годы читал блестящие лекции в Киевском университете в чрезвычайно либеральном и гуманном духе. Но затем, сделавшись редактором «Киевлянина», пошел по наклонной плоскости в стан реакционеров.

Что касается редактора-издателя «Южного Края», то в литературном отношении он был полнейшее ничтожество; все внимание его было обращено на доходность газет. Но в 80-х годах душою «Южного Края» является судившийся по процессу «193-х» революционер Ю. Н. Говоруха-Отрок. Поселившись с 1882 г. в Харькове, он принял самое деятельное участие в

«Южном Крае», превратив его в alter ego «Московских Ведомостей» Каткова.

В обеих столицах наших не редки были реакционные органы. Что же касается провинции, то пресса ее всегда была оппозиционная, протестовавшая даже из-под самых жестоких цензорских тисков. Поэтому «Киевлянин» и «Южный Край» являлись исключением. Нет ничего удивительного, что, поскольку лелеяла их реакция, постольку презирало общество. Но ловкие дельцы и ренегаты пользовались благоприятным моментом и энергично ловили рыбу в мутной воде, набивая карманы и строя дома. Если бы каким-либо образом изменился режим и явился спрос не только на либерализм, но на социализм, даже, пожалуй, на анархизм, с солидным, конечно, доходом от перемены курса, они, конечно, немедленно продали бы свои перья и переменили белые одежды даже на ярко-красные. В то же время подавляющее большинство провинциальной прессы, стремившееся бороться с мрачной реакцией, желавшее отстоять права человека и гражданина, не гнувшее спины и не лакействовавшее, — влачило жалкое существование, вечно находясь под дамокловым мечом цензуры, губернаторов, вице-губернаторов и всех вообще властей духовных и светских.

Свирепствовала цензура и в столицах. Так, в 1890 г. от редакции «Русских Ведомостей» я получил такое сообщение: «Редакция «Русских Ведомостей» имеет честь уведомить вас, что рассказ ваш «Почему в Рябовке нет ни одной книжки», к сожалению, не может быть помещен по цензурным условиям». В 1892 г. Московский цензурный комитет прислал мне такого рода «уведомление»: «Канцелярия Московского цензурного комитета, по определению последнего, сим уведомляет вас, милостивый государь, что составленная вами статья «Народное образование в Орловской губернии» к печати не дозволена, на основании 58 статьи устава цензурного, издания 1890 г., удержана при делах комитета.» Наконец, из «Русской Мысли» в 1894 г. меня уведомили: «Редакция журнала «Русская Мысль» имеет честь сообщить, что доставленная вами статья «Земство и церковно-приходская школа» не может быть напечатана по цензурным условиям». Я нарочно из массы отказов привел лишь запрещенные статьи по таким «революционным» вопросам, как народное образование.

И все это вместе взятое — т.-е. гнет, произвол, беззаконье, закрепощение народа и т. д. — называлось «умиротворением» страны. Нужно ли однако говорить, что «умиротворение» была одна фикция. Как река, задержанная в своем течении, или

разливается, или ищет иных ходов, так и жизнь многомиллионного народа не может быть превращена в вечное прозябание. Все протестующее ушло в подполье.

К 90-м годам относится чрезвычайно любопытное заявление председателя губернской земской управы П. П. Шеншина, сделанное им на губернском земском собрании.

Жалуясь последнему, что в курских статистических работах замечается застой вследствие административного гнета, который проявляется по отношению к статистикам, председатель высказал совершенно верное предположение:

— Я полагаю,—говорил он приблизительно,—что жандармское управление никогда до конца не извлекает неблагонадежные элементы, а часто их оставляет так сказать на развод, или про запас. В самом деле, как понять то обстоятельство, что, разрешая тем или иным лицам заниматься статистикой, оно в то же время производит у них обыски, опять освобождает и опять разрешает? По-моему, одно из двух: или это — революционеры, — то им не место в земстве; или это — не революционеры, — так зачем же их трогать?

Председатель говорил это с иронией, как недопустимую гипотезу, но в действительности он был совершенно прав.

Действительно, явной крамолы было тогда немного, и, действительно, жандармское управление оставляло «про запас» таких неблагонадежных, которые никакой опасности не представляли, а в то же время в случае указания на бездеятельность или же для самостоятельного проявления «энергии» они представляли тот элемент, безрезультатный обыск у которых или арест их можно было мотивировать неблагонадежным «прошлым».

Вот к числу-то таких козлов отпущения принадлежал и я.

Как только возникало какое-либо дело, — а также перед праздниками Рождества, Пасхи, — у меня обязательно происходили обыски, которые влекли запрещение занятий, а затем следовало восстановление в правах.

В промежутке времени 1891—1893 годов — точно года не могу сказать — со мной произошла такая характерная история.

Избранная тогда новая либеральная управа очень хорошо относилась к статистикам вообще и ко мне в частности.

Председатель управы, бывший уездный предводитель дворянства, В. М. Козлов, «подготовил», как он говорил, мне «почву» и предложил лично отправиться к губернатору Шидловскому, дабы получить право на разъезды.

Долго не соглашался я на этот визит; но в виду того, что без визита не могла быть осуществлена моя мечта, изучение народа, — я отправился.

К моему удовольствию, прием в день моего визита был невелик.

Губернатор, наряженный в полную форму, мрачно, не двигая ни одним мускулом, подходил к каждому просителю и цедил сквозь зубы какие-то слова, которые я не мог разобрать.

Наконец подходит ко мне.

— Фамилия?

Отвечаю.

— А-а, — протянул губернатор, измеряя меня с ног до головы, — что угодно?

— Владимир Михайлович Козлов...

— Помню, помню... Но где ручательство, что вы станете разъезжать не в целях пропаганды?..

— Если бы у меня была такая цель, то вряд ли вы увидели бы меня у вас: для пропаганды разрешения не просят...

— Почему? С разрешения правительства гораздо спокойнее. Ведь все ваши статистики этим занимаются...

— Я в этом сомневаюсь уже по одному тому, что при переписи присутствуют сельские власти, а изредка и жандармы...

— О-о, это пустяки!.. Что они понимают? Да и как уследишь? Ведь можно и помимо переписи... Со всех сторон идут донесения на статистиков... Нет, вы должны мне дать слово, что пропагандой заниматься не будете...

— Этого слова я не дам: если вы не доверяете, то какое значение будет иметь мое слово? Если вы полагаете, что цель моя — пропаганда, то, дав слово, все равно я буду пропагандировать.

— Но слово?..

— А если я признаю пропаганду важнее слова?

Шидловский опять смерил меня с ног до головы, повернулся и, уходя, буркнул:

— Хорошо, я подумаю...

Когда я сообщил вышеизложенное председателю управы, последний пришел в ужас.

— Что вы наделали, Иван Петрович! Вы окончательно отрезали себе путь к статистике! Почему вы не дали слова? Разве вы думаете заниматься пропагандой? Надо как-нибудь поправить дело... Я уже за вас поручусь, что ли...

Но, ко всеобщему изумлению, Шидловский через несколько дней разрешил мне разъезды.

Победителей не судят, и тогда все начали говорить, что так и следовало объясняться с Шидловским.

Получив долгожданное мною право, я с жадностью отправился на исследования, переезжая из села в село, из города в город, не зная при этом, как говорится, отдыха. Народная жизнь развернулась предо мной во всей ее неприглядной действительности и давала богатый материал для научных и литературных работ. О пропаганде я и не помышлял, так что, казалось мне, совершенно напрасно следили за мной и сельские власти, и жандармы, присутствовавшие при переписи в рабочих районах, как, например, в Брянском уезде.

К самому началу 90-х годов, к первому году их, относится и удовлетворение следующего за земскими начальниками вожделения крепостнических элементов дворянства — земская «реформа». Удовлетворено оно было лишь «до некоторой степени», так как была мысль вовсе уничтожить земские учреждения, превратив их в канцелярии при губернаторах, и в таком духе гр. Д. Толстой сочинил проект. Но смерть этого ненавистного всем реакционера не дала ему возможности защищать свою «реформу», и земское положение вышло уже из рук Государственного совета, хотя и превратившего земство в учреждение узко-сословное, чисто дворянское, но все же оставившего некоторые контуры самоуправления. Казалось, что земство при таких условиях должно было бы совершенно не отвечать своему назначению. Но самовлюбленная реакция проглядела три обстоятельства, проторившие для земства совершенно иной путь, тот именно, которого более всего боялось правительство.

Обстоятельствами этими были, во-первых, — земские служащие, или «третий элемент», как их определил самарский вице-губернатор Кондоиди; во-вторых — прорвавшееся земское конституционное движение, придушенное 80-ми годами, и, в-третьих — необходимейшее для России лекарство — бедствие. Оно явилось в виде жестокого недорода и не менее жестокой холеры и свирепствовало почти три года — 1891, 1892 и 1893 годы. Иностранный обозреватель журнала «Вестник Европы» в декабрьской книжке за 1891 г. основательно заметил, что «неурожаи бывают и в Германии, и во Франции; но там народный голод немыслим, и в этом особенно замечается печальная особенность нашего положения в глазах западно-европейских наблюдателей и критиков. Подобно тому, как знаменитый картофельный голод в Ирландии в 1848 г. раскрыл перед всеми ненормальное положение населения, так и у нас нынешний голод обнаружил перед всем миром то, чего мы, быть-может, не сознавали сами,

что миллионы нашего крестьянства живут изо дня в день, проедают последние продукты своего труда, не имея никаких запасов на случай нужды, и что они находятся на такой ступени экономического быта, с которой некуда спуститься ниже, а потому вслед за неурожаем наступил прямо голод». Земские учреждения давно указывали на ненормальное положение у нас дела народного продовольствия и тяжкие условия крестьянской жизни. Последние подтверждались данными земской статистики. Но правительство не только не обращало на это никакого внимания, а даже, совместно с крепостниками, видело в «муссировании» продовольственного вопроса стремление земства вообще и земских статистиков в особенности «дискредитировать власть». Несомненно, что оно не обратило бы внимания и на голод 1891 г., если бы на арену не выступило земство со своим «третьим элементом». Но лишь только местное самоуправление проявило стремление к удовлетворению народных нужд, как министерство внутренних дел, которым управлял тогда один из представителей реакции, статс-секретарь П. Н. Дурново, вошел в Государственный совет с «обстоятельною» запиской, в которой доказывалась невозможность самостоятельной работы земства в продовольственном вопросе. Однако земские учреждения не обращали внимания на этот протест и решили действовать согласно земскому взгляду на продовольственное дело. Закипела характерная борьба администрации с земством, в которой активное участие принял и «третий элемент». Вот эта-то борьба и была одним из проявлений освобождения русского общества от тисков реакции 80-х годов. Завязалась она и в Орле, при чем на этой почве произошло мое сближение с земством уже как равноправного со вторым, выборным, земским элементом. Но прежде чем сказать об этом, считаю необходимым сообщить перемены, происшедшие в составе орловской управы и статистического бюро.

Председателем управы, вместо П. П. Шеншина, был избран, как выше сказано, бывший орловский уездный предводитель дворянства и член окружного суда, воспитанник Петербургского у-та В. М. Козлов. Юрист по образованию, долго служивший по судебному ведомству, Козлов был добрейшей души, благожелательный шестидесятник. Из новых членов управы особенно выдавались воспитанник Московского у-та Ф. В. Татаринов, просвещенный человек, и носитель широких прогрессивных взглядов, воспитанник Петровской академии, Федоров.

Что касается статистического бюро, то в нем произошли коренные изменения. Прежде всего администрация потребовала

удаления заведующего статистическим отделением Е. И. Победоносцева. Шидловский и Дудкин считали его неблагонадежным за то, что он принимал в состав бюро и давал работы таким, как *я*, например, лицам, находившимся под гласным или негласным надзором полиции, хотя этого мог и не знать заведующий отделением. Победоносцев был человек образованный, талантливый и опытный статистик, и его уход не мог не отразиться на работах бюро. Эта потеря тем более была чувствительна для орловской статистики, что ее покинул, переехав в Москву, и другой выдающийся статистик, бывший, можно сказать, правой рукою Победоносцева, Н. Н. Черненков. Вслед за ними уехал еще недюжинный статистик — Руднев. Заведывание статистикой перешло к воспитаннику Московского у-та, кандидату математических наук Н. Н. Львову, но не надолго. Скоро его заменил Астафьев. Это был добрейшей души, слабохарактерный и больной человек. О статистике он не имел ни малейшего представления, и совершенно непонятно, как он попал в заведующие. При нем статистическое бюро разрослось до невероятных размеров, так как Астафьев никому не мог отказать. В число служащих попало немало прекрасных и талантливых людей, но не имевших никакого отношения к статистике и пристроившихся в ней ради достижения иных целей. Между прочим, в составе бюро было значительное число членов партии «Народное Право», о которой речь впереди. Исключение составлял, пожалуй, один только А. В. Пешехонов. Высокоодаренный человек этот соединял в своем лице и трудоспособного статистика, и талантливого публициста, как это скоро выяснилось.

На Пешехонове нельзя не остановиться. Сын священника, он трех лет лишился отца. Мать осталась без всяких средств и сделалась «просвирницею». Но кому не известна эта жалкая профессия? Бедной вдове пришлось и голодать и холодать. К счастью, Пешехонова, как сына священника, приняли в духовное училище и даже назначили 45-рублевое пособие в год, т.-е. 3 р. 75 к. в месяц! Но и это нищенское пособие представляло для семьи такую крупную помощь, что вдова, продав в селе Чуховине домишко, перебралась с семьей в свой уездный город Старицу, Тверской губернии, где учился Алеша, чтобы не отдавать последнего на квартиру, употребив эти деньги на жизнь семьею. Но «где тонко — там и рвется»: скоро пожар уничтожил все имущество Пешехоновых, и вдова уехала обратно в село. Но Алексею Васильевичу разрешено было на некоторое время поселиться в местном монастыре. По окончании духовного училища он поступил в Тверскую духовную семинарию. Однако

Пешехонова тянуло в университет, где бы он, конечно, развернул свои блестящие способности и наверное получил бы кафедру. Но по пути стали губительные русские условия: во-первых, семинаристам воспрещен был университет, а во-вторых, А. В. в 1885 г. уволили из семинарии за проявление литературного таланта: в подпольном ученическом журнале он написал статью против властей. И тут началось его мытарство: народное учительство, классный наставник в варшавском реальном училище, отбытие воинской повинности и наказание штрафным батальоном. Наконец встреча с кн. Д. И. Шаховским направила его на путь статистики, где он сразу проявил свои способности. Арестованный в Орле по делу народоправцев, он после пяти месяцев заключения в «Крестах» сделался выдающимся заведующим статистическим бюро в Калуге.

К печальным условиям для орловской статистики присоединилось и то еще обстоятельство, что, за ничтожным исключением, никто администрацией не был утвержден, вследствие чего трудно даже было собирать материалы, не взирая на все ухищрения статистического бюро и старания земской управы. Севский уезд, например, был обследован почти, что называется, воровским образом. В это время единственным, кажется, утвержденным был старый статистик Попков. Но понятная вещь, что один он не мог описать уезд. Управа на свой страх и риск решила послать некоторых неутвержденных, а в том числе и меня. Мы все отлично понимали, что, раз об этом узнает губернатор, он немедленно предпишет всех возвратить обратно, а быть может — и арестовать. Между тем, страшно хотелось описать уезд нелегальным образом. И вот статистическое бюро решило, во-первых, производить обследование самым быстрым темпом, спешно переезжать из села в село, из деревни в деревню, чтобы не нагнал пристав данного стана, а во-вторых, в случае запроса со стороны сельских властей, включая урядников, именовать себя, не показывая бумаг, «Попковым». Но, увы, весьма быстро обнаружилась нелегальность работников. Шидловский поднял невероятную бучу, и председатель управы, В. М. Козлов, лично явился в Севский уезд, чтобы как-нибудь уладить дело. За помощью он обратился к севскому уездному предводителю дворянства Афросимову, у которого и было устроено совещание с вызванными из уезда статистиками. Ничего революционного, конечно, не выяснилось. Сделалось известным лишь то, что и ранее знали и в чем не было, в сущности говоря, решительно никакого преступления: в уезд управою отправлены были лица, посланные на утверждение губернатора более двух недель тому

назад. На совещании было указано на 107 ст. Полож. о земск. учрежд., которая, при определении, перемещении и увольнении земских служащих, требовала применения ст. 286 общего учреж. губернского, а в конце этой статьи говорится: «неполучение от губернатора уведомления в течение 2-недельного срока признается за изъявление им согласия на определение или перемещение чиновника». К сожалению, В. М. Козлов, при всех своих прекрасных качествах, был человек не храброго десятка, а севский предводитель дворянства, как все почти предводители, вовсе не склонен был защищать статистику. Поэтому постановлено было — немедленно исследование прекратить и ехать всем обратно в Орел. «Это ведь в законе так написано, — объяснял председатель управы свою боязнь,— а в действительности — извольте-ка судиться с губернатором!»

Нам, статистикам, такое решение было просто ужасно. Мы описали почти уже весь уезд и вдруг... И вот на тайном нашем совещании мы вынесли такую резолюцию: «Возвращаясь в Орел — попутно, заниматься обследованием уезда». И это было выполнено, при чем я нарвался-таки на пристава, но, к счастью, это было в последнем селении, на самой границе уезда.— Позвольте спросить вашу фамилию,— обратился ко мне пристав, войдя в избу, где я делал опрос населения. «Попков»,— тихо ответил я, густо покраснев и нагнувшись над бумагами.— Попков?— переспросил пристав, подернув плечами.— И другой Попков среди вас есть?— «Да.»— Он ваш родственник?— «Однофамилец.»—Извините.— Пристав вышел, а я, спешно закончив опрос, переехал в Брянский уезд, чтобы по Риго-Орловской дороге приехать в Орел. Этот инцидент был улажен нескоро, но все же управа, в конце-концов, не только уладила дело с Шидловским, но добилась утверждения целого ряда лиц, а в том числе и меня. Это случилось уже при новом заведующем, желчном и нервном — С. М. Блеклове. Я писал об условиях, при которых состоялось мое официальное вступление в статистику, а поэтому повторяться не буду. Скажу лишь здесь, что для меня изучение народной жизни в самом ее источнике дало богатый материал как для тем литературных, так и для личных моих взглядов на народ. Они все получили свое выражение в целом ряде моих научных, публицистических и беллетристических работ.

Возвращаюсь к статистическому бюро и управе.

Воспитанник Московского университета, Блеклов прибыл в Орел уже с солидным именем статистика и публициста. В первой половине 90-х годов отдельным изданием вышли его две книжки: «Travaux statistiques des zemstvos russes», предна-

значенная для ознакомления Европы с земскою статистикою, и — «За фактами и цифрами. Записки земского статистика». Приглашение Блеклова совпало с арестом многих статистиков по делу «Народного Права», о котором будет сказано ниже, и новый заведующий стал налаживать орловскую статистику, съехавшую было с рельсов. Это тем более было необходимо, что закон 8 июня 1893 года об оценке недвижимых имуществ требовал новых приемов и программ. Закон этот обязан был своим происхождением Витте, назначенному в 1892 г. министром финансов. Играя двойную игру, он тотчас же стал подкапываться под земство. Законом 1893 г. Витте стремился вырвать статистику из рук земства, но это ему не удалось.

Желая улучшить земское хозяйство, новая Орловская управа подыскивала соответствующих лиц для заведывания и другими отделами. Между прочим, главным врачом психиатрической больницы был приглашен Павел Иванович Якобий. Это был выдающийся психиатр и всесторонне образованный человек. Судьба его весьма оригинальна. Якобий, будучи еще на последнем курсе Медико-хирургической академии, был отправлен в 1863 г. на войну с Польшею. Но молодой студент так увлекся освободительным восстанием, что стал оказывать помощь повстанцам, вследствие чего вынужден был эмигрировать за границу. Здесь он, — преимущественно во Франции, — закончил свое образование, слушая лекции и работая у выдающихся профессоров, главным образом — у Жан-Мартен Шарко. В 1870 году, во время франко-прусской войны, Якобий с женою вступил в ряды отряда Гарибальди и провел с ним всю кампанию. Как известно, знаменитый итальянский патриот в названном году явился с двумя своими сыновьями в Тур к Гамбетте, который поручил Гарибальди командовать корпусом волонтеров, сосредоточенным между Сеною и Вогезами. Среди этих-то добровольцев, одержавших ряд побед над пруссаками, был и Якобий с женою. Передавали далее, что сведения о нем как о психиатре стали известны императрице Марии Александровне, супруге Александра II, в бытность ее за границею. Узнав, что Якобий как эмигрант не может возвратиться в Россию, она будто бы снабдила его запиской к властям полицейским, дабы последние не трогали доктора. Но, увы, лишь только он переехал границу, был арестован и после тюремного заключения отдан в Твери под гласный надзор полиции, который длился целых пять лет.

В Орле он сразу обратил на себя внимание радикальным реформированием психиатрической больницы, в которой, к слову сказать, найдены были почти орудия пытки от времен При-

каза общественного призрения. Настойчивый, энергичный, Якобий быстро выкурил старый дух, и душевнобольные из обстановки, напоминавшей ту, которая наводит ужас в «Записках сумасшедшего» Гоголя, попали в наилучшие условия. Грубость, жестокосердие, побои уступили место гуманности. Не говоря уже о превосходной пище, уходе, внимательном лечении, для больных устраивали такие невиданные вещи, как спектакли, литературно музыкальные вечера и т. п. Последнее обстоятельство и послужило первою причиною моего знакомства с Якобием. Как-то в «Орловском Вестнике» я поместил небольшую заметку о психиатрической больнице, сопоставив ее прошлое с настоящим. Вскоре после этого Якобий сделал мне визит, чтобы «поблагодарить» за заметку.—За что же?—удивился я.—Ведь мною сообщена лишь действительность.—«В Европе,—отвечал Якобий,—прессу привыкли за все благодарить». Затем у нас завязался разговор. Якобий оказался чрезвычайно интересным собеседником. Всесторонне образованный, много видевший и испытавший на своем веку, он живо и с большим юмором охарактеризовал западно-европейскую и русскую жизнь, сделав чрезвычайно пессимистический вывод как для Запада, так и для нас. С этого момента мы стали близкими знакомыми, при чем нередко он бывал у меня с женою, а я у него. Спустя немного, он жене моей предложил место секретаря в больнице. Валерия Николаевна охотно согласилась на это. Своим твердым и уравновешенным характером она часто сдерживала пыл и раздражение Якобия и тем избавляла его от многих неприятностей. Было немало случаев, когда без такой охраны могли быть весьма неприятные последствия для Павла Ивановича. Так, однажды привезли закованного в цепях психически больного крестьянина. Для деревни это, к сожалению, совершенно обыденное явление. Но Якобий при виде такой картины рассвирепел. Возмущение его дошло до той степени, когда человек не помнит себя. Он предложил Валерии Николаевне написать самые дерзкие бумаги администрации, включая и губернатора, в которых упрекал власти в допущении бесчеловечия, в потворстве пыткам и т. д. и т. п. Жена сделала вид, что немедленно исполнит сказанное Павлом Ивановичем, но на самом деле никому не написала, о чем и сообщила Якобию через два-три дня, когда он совершенно успокоился. И таких случаев было, повторяю, немало. Павел Иванович вообще не считался с действительностью, и когда находил что-либо нужным, то не обращал внимания, как к его действиям относятся другие. Говорили, что однажды Якобий задался мыслью излечить русский народ

от тяжкой наследственности. С этой целью он в одной губернии произвел анкету о времени рождения детей. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев появление на свет младенцев приходилось на масляной неделе, т.-е. во время пьянства, обжорства и отупения, и после постов. Ведя воздержанную, сравнительно, жизнь в течение постов, — великого, петровок, филипповок,— население по окончании их объедается, опивается, и в этот ужасный, скотский, можно сказать, момент зарождаются дети! Что же удивительного, что получалась и получается страшная наследственность! И вот, говорили, Якобий с фактами в руках думал обратиться в св. Синод с предложением... уничтожить посты! Можете судить, что произошло бы в названном ведомстве! Конечно, этот грандиозный и, действительно, громадной важности проект Якобия провалился бы, а автора его, пожалуй, засадили бы в сумасшедший дом. Но ему удался другой опыт. Говорили, что в одной губернии оказалась местность, пораженная кликушеством. Земство предложило Якобию исследовать болезнь и выработать меры к ее уничтожению. Павел Иванович немедленно отправился, произвел тщательное обследование, а возвратившись заявил, что в названной местности, расположенной среди лесов, в невероятно глухой трущобе, необходимо провести дороги, устроить ярмарку и разумные развлечения. Все были удивлены, что никакого «лечения», как его понимают, Якобий не предложил, но выполнили проект врача. И что же? Через весьма короткое время район, приобщенный к культуре, почти совершенно избавился от кликушества [1]. Нужно ли говорить, что свободомыслие Якобия, его оригинальность, широкий кругозор, самостоятельность, не говоря уже о громком прошлом, не могли сделать его благонадежным в глазах предержащих властей, как недолюбливал его и реакционный элемент в земстве, смотревший на реформы в больнице, как на дорого стоящие «затеи» «сумасшедшего доктора». Но управа стойко защищала Якобия. Вообще новый состав управы вел себя по отношению к администрации довольно самостоятельно, стараясь в то же время быть в высшей степени осторожным, чтобы не заподозрели в антиправительственном направлении. Особенно настороже был Козлов. Вот один пример. Вызывает как-то меня Владимир Михайлович из статистического бюро. Когда я вошел в его кабинет, он затворил на ключ дверь и, предложив сесть за столом рядом с ним, отпер ящик в своем столе, вынул

[1] Много позднее появился ряд его статей о психиатрических заболеваниях в «Русском Богатстве».

оттуда какую-то бумажку, прикрыл ее ладонью и почти шопотом заговорил:

— Вот это прокламация, кем-то присланная на имя председателя губернской управы. Вскрыв конверт, я тотчас же догадался, что это за штука, и не читал ее и вам не дам читать. Я пригласил вас лишь потому, что, в силу вашего прошлого, вы, несомненно, опытны в такого рода делах. Так вот, как вы думаете относительно этой прокламации?

— Если вы боитесь, то самое лучшее — бросьте ее в печь.

— Не-ет, батенька! А представьте себе, что мне ее нарочно прислал Дудкин, чтобы узнать, доставлю ли я прокламацию по начальству или буду ее читать другим, вообще — распространять?

— Но как же это он узнает, если прокламация сгорит?

— Он мог отправить ее при свидетелях...

— В таком случае отдайте ее мне...

— Что вы, что вы! Нет, надо подумать — сжечь или представить в жандармское правление, чтобы не оно меня, а я его провел.

Тем беседа наша кончилась. Не более как недели через две опять вызывает меня Козлов, опять запирает дверь кабинета на ключ и опять говорит шопотом:

— Теперь только я понимаю, как хорошо было бы, если бы я послушал вас и сжег прокламацию...

— А что?

— Да проклятые жандармы просто замучили меня!

— Каким образом?

— Прежде всего Дудкин не выразил никакого удивления, когда я доставил ему прокламацию».

— А вы-таки доставили?

— Грешный человек — сделал такую глупость.

— И плохо сделали. Ведь жандармы руководствуются в своих действиях только карьерою и корыстью. Если бы Дудкин произвел у вас обыск и лично нашел прокламацию, он был бы страшно доволен, потому что за это он мог бы рассчитывать на чины и награды. Когда же вы сами ему доставили, то он не только этому не может быть рад, но должен быть необычайно огорчен. Ведь доставление, показывая вашу ультраблагонадежность, является в то же время укором для жандармского полковника: значит, он просмотрел, не зная, что у вас прокламации.

— Вашими устами говорит сама истина... Вы знаете, с чего он начал, когда я доставил ему прокламацию? «А где же конверт, в котором она прислана?» — спросил Дудкин. И когда я

ответил, что бросил его в корзину, он заявил: «Без конверта это доставление не только теряет для вас значение, но, при желании, можно сделать совсем иной вывод: у вас в управе могут изготовлять прокламации, а вы, чтобы скрыть это, одну из них доставили мне». Полковник! — воскликнул я. Дудкин поспешил оправдаться: «Конечно, я вас ни в коем случае не подозреваю, а говорю лишь, что можно, при желании, сделать такой вывод».—Нет,—закончил Козлов свое сообщение,—теперь буду бросать прокламации в печь, как вы советовали!

— Самое лучшее, — ответил я.

Из приведенной беседы видно, что Владимир Михайлович был со мною в хороших отношениях. Это объясняется рядом причин.

Первое знакомство наше произошло в Комиссии народных чтений, председателем которой и защитником состоял Козлов. Смешно сказать, но это факт, что Комиссия народных чтений — мирнейшее и благонадежнейшее учреждение — существовала только благодаря ему как бывшему предводителю дворянства, бывшему члену окружного суда и полному штатскому генералу. На общих собраниях Козлов, пользуясь своим положением, не препятствовал дебатам, вследствие чего Комиссия народных чтений, служа единственным местом, где можно было говорить членораздельными звуками, привлекла в свои члены почти всю орловскую интеллигенцию. Не взирая на то, что разговоры вертелись, главным образом, вокруг народных чтений и культурно-просветительной деятельности, Шидловский и Дудкин видели в комиссии гнездо крамолы, и Козлову приходилось выдерживать жестокие натиски со стороны полиции. Помимо комиссии, я близко сошелся с Владимиром Михайловичем как представитель столичной и провинциальной прессы. Между прочим, я состоял членом обновленной редакции «Орловского Вестника». Обновление это произошло при таких обстоятельствах. Издательница газеты Семенова, о которой я уже упоминал, сошлась с очень живым и общественным молодым человеком, Сентяниным. С последним я и вступил в переговоры об отдаче газеты в руки группы лиц, которые будут вести ее литературную часть. Семенова и Сентянин согласились на это. Тогда редакция образовалась из меня, инженера путей сообщения Н. Ф. Королева, занимавшего крупную должность на Риго-Орловской дороге, талантливого юриста А. Н. Рейнгарда и А. В. Пешехонова.

Кроме того, я обратился в Н.-Новгород к проживавшим тогда там моим приятелям и сотоварищам по ссылке: С. Я. Елпа-

тьевскому, Н. Ф. Анненскому и Влад. Г. Короленко. На это последний ответил мне двумя письмами. В первом из них он писал:

«Дорогой Иван Петрович. Первое Ваше письмо меня не застало, а теперь отвечаю за себя, Елпатьевского и Анненского. Ответ, как увидите, настолько сложен, что телеграммой ничего не поделаешь. Относительно фактического сотрудничества — в ближайшем будущем совершенно невозможно. Я теперь, только что вернувшись, занят по горло. У обоих моих товарищей «профессии», которые не оставляют много времени. О принципиальном согласии работать с Вами не было бы и разговора, но все таки есть но. Мы знаем, что можем примкнуть к газете под Вашим фактическим редакторством, так как совершенно уверены в Вашей литературной опытности. Требуется, однако, некоторая хотя бы гарантия, что Ваше-то участие прочно и не эфемерно. Мне (и вообще нам) так надоели эти истории с приглашением и потом выходом из газет, что я твердо решил не идти ни на какие сюрпризы. Итак, отвечайте по сему предмету скорее, а мы тоже не замедлим».

По этому поводу я послал официальное удостоверение редакции с подписями и печатями. А В. Г. Короленко на это отвечал:

«Официальное удостоверение с печатью и подписом меня, конечно, несколько удивило, но если я не отвечал до сих пор, то вовсе не потому, чтобы считал себя в праве претендовать или, тем менее, сердиться на столь «крепкое» удостоверение. Я не мог ответить просто потому, что сильно хворал инфлюэнцой с осложнениями разного калибра и за это время решительно не мог поддерживать свою весьма обширную корреспонденцию. С удостоверением действительно вышло недоразумение. Если я заговорил об этом вопросе (т.-е. о прочности Вашего участия в газете), то это потому, что в первом Вашем письме была фраза: «теперь по каким-то причинам произошла перемена в газете» и т. д. Вот это-то и внушило нам некоторые сомнения: «какие-то причины» — это очень неопределенно, и нам хотелось выяснить, насколько Вы-то сами считаете эти причины, поведшие к переменам, серьезными причинами. Разумеется, нам и в голову не приходило требовать каких-нибудь формальных гарантий или удостоверений, тем более что мы вперед писали Вам о том, что сотрудничество наше не скоро может осуществиться и не может быть деятельным. Мне очень неловко думать, что Ваши товарищи останутся при убеждении, будто мы так уже ценим наше участие, что обставляем его такими фор-

мальностями. Повторяю, мне хотелось только узнать от Вас самих определенное мнение об этой стороне возбужденного Вами вопроса. Что касается ответа по существу, то поступайте как хотите. Ни я, ни Елпатьевский, ни Анненский не имеем ничего против сотрудничества «в принципе», но скоро осуществить его не можем. Корреспонденции из Нижнего едва ли Вам нужны, а статьи—когда-то еще будут. Не если Вам уж хочется поставить наши фамилии в проспекте, в числе других сотрудников для заявления о новой окраске газеты,— извольте».

Все мы пользовались большими симпатиями общества, и газета из плохих стала приличным провинциальным органом. Но это обстоятельство немедленно возбудило против нас администрацию, в глазах которой пресса являлась одним из факторов крамолы. Свирепая вообще, предварительная цензура нажала пресс. Слава еще богу, что два или три советника губернского правления, поочередно оскоплявшие газету, подставляли, по бюрократическому обычаю, друг другу, как говорят, «свинью». Поэтому неразрешенное одним цензором редакция подсовывала другому, который наиболее терпеть не мог неразрешившего, и таким образом кое-что удавалось пропустить. Но скоро прекратилось и такое чисто-русское «счастие». Меч над «Орловским Вестником» был поднят новым вице-губернатором Неклюдовым. Этот субъект, достойный кисти художника [1]), переведен был из Нижнего-Новгорода вместе с массою — как ходили слухи — следовавших за ним долгов. Говорили, что для покрытия последних он решил собрать дань в Орле. С этою целью Неклюдов стал «работать» на два фронта: чтобы закрыть глаза правительству, он прикрылся реакционною ширмою, за которую всеми правдами и неправдами выжимал нужные ему средства не только с обывателей,— главным образом с евреев и купечества,— но и с полиции, повышая или понижая чинов ее соответственно размерам мзды со стороны того или иного лица, преимущественно, конечно, полицмейстеров и приставов. Благонадежность же Неклюдов завоевывал на крамоле и печати. На первом пути его стоял жандармский полковник Дудкин, не желавший никому уступить такую выгодную операцию, как обнаружение крамолы, а потому Неклюдову пришлось прибегать к различным, не всегда удачным, способам, чтобы хоть кусочек славы приобрести на этом поприще. Один из таких способов он применил, между прочим, ко мне. В то время когда я почти получил права гражданства и уже свободно разъезжал по деревням, производя

---

[1]) О нем гр. Л. Толстой писал, кажется, в «Исповеди Нехлюдова».

местные исследования, управа в начале июня 1894 г. вдруг получила от исправляющего должность губернатора Неклюдова бумагу, в которой категорически требовалось «немедленное устранение» меня из статистического бюро. А я в это время обследовал Орловский уезд. Поэтому управа послала в погоню за мною самого заведующего С. М. Блеклова. Нагнав меня в одном из селений, он, возмущенный, сообщил мне:

— Опять, мерзавцы, требуют устранить вас!.. Ведь это ужасно!.. Какой-то взяточник распоряжается нашей судьбой!.. Владимир Михайлович решил обжаловать это распоряжение Неклюдова.

Нечего делать — прибыл я с Блекловым в Орел.

Управа была возмущена бумагой исправляющего должность губернатора, а Козлов действительно собирался ехать в Петербург. Но этого не понадобилось. Услышав, вероятно, что его ни на чем не основанное требование об удалении меня произвело большой шум, Неклюдов, «в д о п о л н е н и е» к бумаге о моем изъятии, сообщил, что... «не встречается препятствий» продолжать Белоконскому занятие статистикой. В два дня и такое резкое изменение взглядов!.

По отношению к бесправной, забитой провинциальной прессе Неклюдов прибег к самому элементарному произволу. Он вздумал при ее посредстве получить известность как защитник злободневных тогда земских начальников. С этой целью вице-губернатор, поместив в «Гражданине» соответствующего содержания статью вызвал «официально» редактора, вручил ему свое произведение и п р и к а з а л его перепечатать. Струсивший редактор принял статью, принес ее в редакцию и начал «обходить» нас. Не говоря сразу о вице-губернаторском творчестве, он начал с того, что, мол, бывают вопросы, к которым сразу и неизвестно почему относятся пристрастно, тенденциозно. К числу таких вопросов относится и вопрос о земских начальниках. В действительности же институт этот заслуживает внимания, так как возникновение его является следствием желания облегчить участь крестьян, узнав их истинные нужды. И многие земские начальники действительно благодетели населения, а если и есть плохие, то в семье не без урода. Редакция, не заподозревая тайных мыслей, просто ответила издателю, что она принципиально против земских начальников и это оговорено в условии с издателем. «Да,— отвечал последний,— но если мне не только предъявлено требование, чтобы были изменены взгляды на земских начальников, но и вручена статья самого вице-губернатора?» — «Само собою разумеется, что статья эта не будет помещена»,— был наш ответ. И что ни делал издатель, мы, конечно,

уступить ему не могли. Статья не появилась, а Неклюдов, вызвав официального редактора, разнес его в пух и прах, топал ногами, кричал, стучал и пригрозил закрытием газеты. В результате издатель написал мне письмо такого содержания:

«Многоуважаемый Иван Петрович!

Вы, вероятно, не захотите заподозреть меня в неискренности и поверить, что я говорю с тяжелым чувством о том, что Надежда Алексеевна смотрит на дело издания газеты, как на единственный источник существования, что она страшно смущена опасностью, так как что-то уж очень много толкуют о закрытии. Я не думаю, чтобы Вы могли этим обидеться, и предоставляю вам право действовать, как найдете удобным,— т. е. желаете ли поместить текст в газете об отказе, только, конечно, просил бы писать его не в обидном для редакции духе, сделать ли это каким-либо другим путем — мне все равно. Надеюсь, что это обстоятельство не послужит к полному разрыву между нами, и мы останемся прежними хорошими знакомыми».

Нашей компании не оставалось ничего более, как уйти из «Орловского Вестника», что мы и сделали. Это произошло в конце первой половины 90-х годов и совпало с провалом партии «Народное Право», некоторые члены которой принимали близкое участие в газете.

Забежал же я вперед, чтобы покончить с вице-губернатором Неклюдовым. Теперь, прежде чем говорить о партии «Народное Право», должен возвратиться назад.

Как и повсеместно в 1891—1892 г., орловская администрация старалась совершенно отстранить земство от голодающего населения, с каковою целью распространялись слухи и делались донесения, что голода в действительности нет, а имеется лишь небольшая нужда, раздутая земством и печатью и вызвавшая злонамеренные требования со стороны жителей деревни, чтобы их даром кормили и поили. Мне пришлось защищать земство в столичной прессе, преимущественно в «Русских Ведомостях». Эту защиту я обосновывал на статистических исследованиях, а также на непосредственном участии в кормлении народа. В последней роли я выступил по инициативе редакции «Русских Ведомостей», впервые выславшей мне 200 р. из пожертвований на нужды школьных столовых, а затем, по предложению председателя Я. Г. Гуревича, редактора журнала «Русская школа» и секретаря Д. Д. Протопопова,— С.-Петербургской комиссией по оказанию помощи учащимся в народных школах местностей,

пострадавших от неурожая, выславшей мне в первый раз 790 руб.

Присылал деньги и знаменитый С.-Петербургский комитет грамотности, избравший затем в начале 1894 г. меня своим членом.

За осуществление столовых с горячей энергией взялась жена моя, Валерия Николаевна, которой представилась первая после ссылки возможность выступить открыто на общественное поприще и, главное, помочь горячо любимым ею детям, от которых она была отстранена 13 лет тому назад, лишившись права учительства. Организовав кружок, она произвела самые тщательные исследования, чтобы кормить действительно нуждающихся, и по целым суткам проводила в городских столовых.

В деревнях столовыми заведывали также, главным образом, учителя и учительницы, отчитываясь предо мною. Я не буду долго останавливаться на столовых, так как в свое время (1892—1893 гг.) отчеты о них печатались мною в «Русской Школе» и «Русских Ведомостях». Последние, между прочим, предприняли обширное обследование нужд населения в эти тяжкие годы. Вот с каким предложением в 1891 г. обратились они к своим сотрудникам, в том числе и ко мне:

«М. Г., редакция «Русских Ведомостей» имеет надобность в точных сведениях о современном состоянии местностей, пораженных неурожаем, как для того, чтобы правдивым и живым изображением испытываемой нужды способствовать более обильному притоку пожертвований, так и в видах целесообразного употребления пособий, поступающих в пользу голодающих через ее посредство. Между тем, данные, имеющиеся до сих пор в печати по этому предмету, отрывочны, недостаточно подробны и не всегда достоверны. Чтобы восполнить такой пробел, редакция решила обратиться к помощи своих корреспондентов. Она позволяет себе, между прочим, беспокоить и вас покорнейшей просьбой,—не найдете ли вы возможным доставить сведения о вашей местности, хотя бы в форме ответов на прилагаемые вопросы, присоединив и всякие другие подробности, какие вы найдете нужными. В особенности интересуют редакцию сведения об организации в вашей местности помощи голодающим и о степени ее успешности. Питая надежду, что вы не откажете в сообщении изложенных данных, редакция просит вас по возможности поспешить их доставлением. В видах выигрыша времени возможно было бы препровождать сведения по частям.

1) К какой местности (губернии, уезду, волости или приходу) относится ваше сообщение? Как велико население этой местности?

2) Какая доля описываемой Вами местности постигнута неурожаем? Не было ли правительственных, земских или каких-либо иных, вполне достоверных исследований о том, какое число жителей в описываемой местности страдает от неурожая?

3) Как велика степень нужды в вашей местности? Не был ли неурожай нынешнего года предварен недоборами предшествующих лет? До какого времени достанет у местного населения собранного хлеба и кормов для скота? На сколько месяцев и в каком количестве требуется продовольствие со стороны? Не ощущается ли недостатка в топливе? Не осталось ли незасеянных озимых полей, и если осталось,—то не известна ли общая их площадь? Как велика потребность в яровых семенах?

4) Не замечается ли уже в настоящее время признаков начинающегося голода, и в чем выражаются они (в развитии нищенства, в болезнях, в истощении от недостатка пищи?). Не происходит ли усиленная продажа крестьянами скота и лошадей, и насколько выручаемые от продажи цены ниже прошлогодних? Не замечается ли стремления скупщиков арендовать крестьянские наделы? Не происходит ли усиленное выселение жителей из вашей местности? Нет ли сведений о том, как много лиц воспользовалось паспортными льготами, разрешенными правительством для неурожайных местностей?

5) Какие в описываемой местности приняты меры для облегчения бедствий со стороны правительства, земства, духовного ведомства, Общества Краснаго Креста и каких-либо иных учреждений? Какие суммы испрашивались на продовольствие? в расчете на какой срок? сколько разрешено? Как велика сумма, оставшаяся от правительственной ссуды за выдачей озимых семян? Не устроено ли и не предполагается ли устройство каких-либо местных органов по сбору пожертвований в пользу голодающих и по распределению пособий? Каким образом ведется до сих пор раздача пособий, и успешно ли достигает цели принятая в вашей местности система? Не известно ли вам каких-либо предприятий отдельных лиц на пользу голодающих, напр., устройство бесплатной раздачи пищи, продажи хлеба по дешевым ценам, устройство приютов для призрения детей из голодающих семей и т. п.? Не принято ли каких-либо мер к сохранению скота?

6) Где именно, в каких селениях и пунктах вашей местности, ощущается особенно острая нужда, и каким путем (через ка-

кие органы) могла бы быть всего надежнее отправлена туда помощь, если бы оказалась возможность ее доставить?

Редакция покорнейше просит указывать источники, на которых основываются сообщаемые сведения (документальные данные, личные наблюдения, проверенные слухи), и отвечать лишь на те из вышеприведенных вопросов, по которым имеются достаточно достоверные сведения, отправив на первый раз такие из них, которыми вы располагаете в настоящее время, и отложив прочие до другого раза, когда вы найдете возможным добыть их. Кроме собственных ваших сведений, была бы желательна присылка разных материалов по вопросу о неурожаях, как-то: докладов земских управ и состоящих при них комиссий, журналов земских собраний, копий с донесений правительственных учреждений, отчетов о деятельности местных органов по сбору и разделу пособия пострадавшим и т. п.»

При этом письме прилагалась еще особая обширная «Программа» для собирания сведений о неурожае и голоде (1891—1892 г.).

Я имел возможность сообщить многое о голодном годе, так как в это время производил описание Брянского уезда. Боже, что я там увидел! Лишь на основании части данных был написан ряд фельетонов в «Русских Ведомостях» под заглавием «Край долбни и картошки»[1]. А многие данные остались неиспользованными. Воспроизведу здесь то, что могу вызвать из глубины своей памяти. Ездил я по Брянскому уезду с товарищем своим, статистиком В. В. Башмачниковым, почти фанатическим общинником. Приехали мы как-то в одно дальнее селение, расположенное в глубоком лесу. Начали опрос. Вижу, Башмачников, занявшийся составлением пообщинного бланка, с редким воодушевлением исписывает лист за листом.

— Какое открытие вы сделали?— шепчу я ему на ухо.

— Поразительная община! — тихо отвечает он, продолжая писать.

Оказалось, действительно, общинная земля делится не только между всеми наличными живыми душами,— ее получают также солдаты и, что совсем уж удивительно, наделяют землею даже сторонних жителей, не принадлежащих к общине. Громко предлагая вопросы и получая на них желательные ответы, Башмачников победоносно посматривал на меня и иронически улыбался, так как я часто расхолаживал его общинный пыл.

---

[1] Рассказы. Том I. «Деревенские впечатления». (Из записок земского статистика). Издание второе. С-Пб., 1909 г.

Но вот, подробно описав коренные и частичные земельные переделы, товарищ предлагает последний и самый важный вопрос:

— Почему же вы всем раздаете землю?

— Да к бы, ваш высокородие, вы пожелали, так и вам бы отмежевали,— был ответ,— потому как земля никуда не годится и не оправдывает платежей.

Тут у Башмачникова перо выпало из рук, а я не мог удержаться от гомерического хохота.

Дальнейшие наши экскурсии убедили нас в невероятной бедности и дикости населения лесных частей Брянского уезда: Достаточно сказать, что,— не говоря уже о курных избах,— во многих местах единственным освещением была лучина, которую зажигали углями, хранимыми под пеплом в печах, так как спички,— исключительно фосфорные,— являлись роскошью и хранились пуще зеницы ока. На почве этой бедности и темноты холера развивалась с невероятною быстротою и косила население, тем более, что медицинская помощь была далеко не достаточна и базировалась, главным образом, на невежественных фельдшерах. Говорили, между прочим, что фельдшера выпивали все напитки, которые земство рассылало для больных (коньяк, красное вино и т. д.), и заполняли опорожненные бутылки сивухою, которою и «лечили» больных. Население не доверяло медицине и прятало холерных.

В одной деревне мы наткнулись прямо на страшную картину. Прибыли мы туда под вечер и были смущены гробовою тишиною, отсутствием людей и закрытыми ставнями.

— Почему же никого не видно? — обратились мы к вознице.

— Должно попрятались,— спокойно ответил он, слезая с телеги,— должно думают, не доктора ли вы... Стой-ка я поищу...

И он отправился в густые конопляники, стеною стоявшие у дороги против изб. Через некоторое время вместе с возницею оттуда появились волосатые, словно первобытные люди с дубинами. Окружив телегу, они начали опрашивать нас,— кто мы и зачем приехали. Лишь долгое уверение, что мы «не доктора», а «приехали узнать о земле», успокоили население. Произведя на другой день опрос, мы поспешили скорее оставить селение, так как узнали, что жители прятали в конопляниках как живых, так и умерших холерных, которых затем хоронили тайно.

Конечно, это ужасно. Но следует сказать, что и начальство вело себя иногда так, что прямо вызывало бунт. Вот, например, некоторые факты из деятельности пристава, носившего знатную

фамилию византийских царей и, быть-может, бывшего отдаленным их потомком, — Палеолог. В одной деревне, где произошел первый случай холеры, невежественный «батюшка» отпевал и хоронил больных в открытом гробу. А темное крестьянство после похорон отправилось «поминать» покойного в его же избу. Во время обеда вдруг является Палеолог и, не входя в избу, требует, чтобы обедающие вышли к нему на улицу. Но подвыпившие уже исполнители тризны категорически заявили, что «покуда не отобедаем — не выйдем». На это ретивый администратор сказал, что в таком случае он будеть стрелять. Испуганные пирующие вышли из избы. Палеолог погнал их в поле и приказал рыть яму. Произошла паника. Бабы взвыли и бросились на колени, умоляя о пощаде. Но пристав был неумолим. Когда яма достигла глубины половины роста человека, Палеолог, грозя револьвером, загнал их в яму. Тут поднялось нечто неописуемое, так как все думали, что их закопают живьем. Но пристав распорядился лишь облить их с ног до головы карболкой. Но это было лишь первое действие. Для второго крестьяне обоего пола должны были догола раздеться, и в таком виде они вторично были облиты карболкою, а одежда вторично подверглась дезинфекции. После этого напуганные, трясущиеся от ужаса и холода поминальщики были отпущены. Из них лишь один умер «от страха», как сообщили нам сами пострадавшие или, вернее, потерпевшие.

Чтобы не возвращаться более к голодным годам, скажу здесь, что через председателя управы, В. М. Козлова, меня пригласил председатель окружного суда, кн. Сонцов-Засекин, чтобы я разобрался в счетах по общественным работам, организованным для голодающего населения. И не мало мною потрачено было труда, чтобы ориентироваться в массе документов на громадные суммы, затраченные на общественные работы. В концеконцов я осилил работу и получил благодарность как «земский статистик», что было для меня принципиально важно.

Теперь скажу несколько слов о партии «Народное Право», к которой я не принадлежал, но с членами которой я и жена были в наилучших отношениях, а мои свояченицы, особенно Леонарда Николаевна Левандовская, принимали, кажется, довольно близкое участие. Да и жена моя, Валерия Николаевна, однажды оказала большую услугу — она перевезла часть типографии и передала ее одному из активных членов партии Н. Н. Львову. Словом, повторяю, я и мое семейство весьма близко соприкасались с названною партиею, знали большинство ее членов, как и деятельность ее для осуществления намеченных

целей. За нашей квартирой был установлен тщательный надзор, о котором скажу ниже.

Начало партии «Народное Право» было положено, повидимому, еще в Саратове, при чем одним из выдающихся инициаторов ее был, несомненно, М. А. Натансон, служивший там в управлении Орлово-Грязской ж. дороги, переведенном затем вместе со служащими в Орел. Человек большого ума, властного характера, выдающейся энергии, М. А. Натансон был одним из старейших участников и инициаторов освободительного движения. Уже в начале 70-х годов в С.-Петербурге существовал кружок его имени, участие в котором принимали такие выдающиеся впоследствии лица, как кн. Петр Кропоткин, как Клеменс, Кравчинский и др. Кружок этот был настолько конспиративен, что членов его, по мысли Клеменса, прозвали «троглодитами», т.-е. пещерными людьми. Высланный в 1872 г. в Архангельскую губ., Натансон, возвратившись, сделался одним из организаторов партии «Земля и Воля», распавшейся в 1879 г., на Липецком съезде, на две партии — «Народная Воля» и «Черный Передел». В 1878 г. Натансон за участие в кружке «Общество друзей» был сослан в Восточную Сибирь, где пробыл до 1887 г. Поселившись в Орле, он немедленно приступил к вербовке членов в партию «Народное Право». Видом напоминавший библейского патриарха, М. А. производил импонирующее впечатление и умел скоро располагать к себе лиц самых разнообразных положений. А крупное положение в контроле Орловско-Грязской ж. дороги давало ему возможность прямо раздавать места в управлении своим единомышленникам. Кроме того, значительная часть последних служила в земском статистическом бюро, и среди них такие видные члены, как Н. С. Тютчев, А. К. Сазонов. Знал я и других лиц, как С. К. Сотников, В. В. Башмачников, агроном Г. П. Клинг, А. В. Гедеоновский — студент Варшавского университета, М. А. Манцевич, приятель моей жены и свояченицы, очень часто у нас бывавший и именовавшийся «папом». Все это были люди чрезвычайно симпатичные, искренние и преданные делу, которому служили. В Орле за участниками «Народного Права» был установлен сильнейший надзор. Шпионы прямо следовали по пятам многих из них. На этой почве произошел довольно комичный инцидент. Жена моя органически ненавидела шпионов, и большим удовольствием было для нее обнаружить сыщика и идти по его стопам, приводя в смущение или в ярость агента полиции. Занялась она этим и в Орле в момент наводнения его сыщиками. И вот однажды она, увидев издали подозрительного субъекта,

стала тщательно следить за ним. Субъект заметил это и стал удирать. Валерия Николаевна за ним, он от нее. Тогда жена сделала вид, что возвращается назад, на самом же деле повернула, обогнула квартал и лицом к лицу встретилась с... доктором О. В. Аптекманом! Оказалось, что и он принял Валерию Николаевну за шпиона! По многим данным можно было заключить, что над партией «Народное Право» занесен уже меч, но, к сожалению, члены ее этого не замечали и в самый разгар надзора сделали совершенно ошибочный шаг.

Мы знали, что в Смоленске устраивается типография «Народного Права». А в это время как-раз назначен был царский смотр войскам в том же городе, и я с женой предсказывали «пану», что типография там мгновенно провалится, а он, «пан», отправлявшийся в Смоленск, чтобы работать в типографии, будет, конечно, арестован. Так оно и случилось: «пан», под именем Дмитрия Окунева, был застигнут на месте преступления, когда только-что был отпечатан манифест партии «Народное Право». Об этом манифесте речь впереди, а теперь, возвращаясь к Орлу, скажу, что о провале партии стало известно утром 22 апреля 1894 г. Необыкновенно быстро распространил я слух о громадных обысках и арестах, происшедших в ночь с 21 на 22 апреля. Я, жена и обе свояченицы тотчас же отправились узнать, насколько верен слух и кто именно арестован. Первою я посетил квартиру Н. Н. Львова и убедился, что сведения основательны. Ночью у него был тщательный обыск. Самого квартирохозяина дома полиция не застала, вследствие чего установлен был надзор, не оставлявший сомнения, что Львов будет арестован. Когда я сообщил об этом знакомым, немедленно было учреждено дежурство на вокзале, чтобы предупредить Н. Н., если он приедет. Должен сказать, что Львов отличался необыкновенной конспиративностью, и я не мало был удивлен, что его выследили. Но еще более изумился я, когда, посетив квартиру Евгения Ивановича Победоносцева, узнал, что и он арестован! Впоследствии выяснилось, что причиною бед, разразившихся над ни в чем неповинным бывшим заведующим статистическим бюро, был его квартирант — Сотников. Следя за последним, полиция не разузнала, что Сотников жил в отдельном флигеле и не имел ничего общего с Победоносцевым. Но у нас с гражданами не церемонятся, и Е. И., семейного человека, потащили без всяких разговоров в тюрьму, а оттуда — С.-Петербург, в Дом предварительного заключения! Однако и этим не ограничился Дудкин, аппетит которого возрастал с количеством обысков и арестов, суливших великие милости. Он арестовал

начальника службы, кажется, движения Риго-Орловской жел. дороги, Н. Ф. Королева, о котором я вскользь упоминал выше. Это был прекраснейший человек, соединявший в себе редкую доброту с самою широкою и разнообразною общественною деятельностью. Он стоял во главе организованной им вольной пожарной дружины, играл в любительских спектаклях, был деятельным членом литературно-художественного кружка, комиссии народных чтений, а также всех благотворительных обществ. Словом, не было, кажется, в Орле такого общественного учреждения, где бы Николай Филиппович не только принимал участие, но был, что называется, «душою общества».

Его все любили, все уважали и стремились залучить во всякое возникавшее общественное предприятие. В то же время Королев был совершенно аполитичен. И вот такой-то человек был арестован при самых «русских» условиях. По обыкновению, Королев и в ночь ареста был распорядителем на вечере в «Литературном кружке», устроенном по образцу саратовского народоправцами-саратовцами, или, вернее, все тем же Натансоном, с целью объединения общества на политической почве, прикрываясь литературными задачами. Посещал кружок и Иван Алексеевич Бунин; здесь я впервые с ним познакомился. Уже тогда о нем говорили, как о выдающемся поэте, хотя он, кажется, еще и не печатался, а читали его стихотворения в рукописном виде[1]. Стройный, лет 23 — 24 молодой человек, немного выше среднего роста, худой, он бросался в глаза своим, я бы сказал, поэтическим обликом. «Кружок» Бунин посещал с какою-то весьма красивою, изящною девушкою, что еще более обращало всеобщее внимание. Такие лица, как И. А. Бунин, главным образом и интересовали Королева, стоявшего официально во главе кружка, веря в его чисто литературные за-

---

[1] Проживал в Орле еще один будущий знаменитый писатель. Это Леонид Андреев. Его хорошо знали в Орле как уроженца этого города, учившегося в орловской гимназии. В бытность его затем в Петербургском и Московском университетах он на каникулы всегда приезжал в Орел и вращался среди товарищей типа немецких буршей. Они часто были, как говорится, «навеселе» и вели образ жизни, напоминавший будущие «Дни нашей жизни». Лично Андреев прибегал к напиткам, несомненно, ища новых путей. Он мучился «проклятыми вопросами», о чем, между прочим, свидетельствовала молва, что Андреев «бросался под поезд», «стрелялся» и т. д. Но окружавшие его пьянствовали, повидимому, без всяких задних мыслей, и орловские обыватели называли кружок будущего писателя «хулиганами». Студентом Леонида Андреева я видел раз или два, и он бросался в глаза своею нервностью. Впоследствии, как он стал писателем, я был очень хорошо знаком с Андреевым, особенно во время пребывания его в Крыму.

дачи, которые увлекали его как большого поклонника литературы. Не знал Королев, что он льет воду на колеса политической партии. В злополучный вечер Николай Филиппович как-раз принимал кассу, когда явился «сам» Дулкин, чтобы не упустить из рук «важного государственного преступника». Николая Филипповича повезли домой, произвели там тщательный обыск, арестовали, а затем, как и Победоносцева, отправили в Петербург! Скоро выяснилось, что Королев ни при чем, а виновною оказалась.. его свояченица! Но это нисколько не препятствовало, чтобы схватить невинного и почтенного инженера путей сообщения, занимавшего крупное место в железнодорожном ведомстве, обыскать, арестовать и отправить в столицу для заключения! Когда узнали об аресте Королева, в городе возникла паника. «Уж если Николая Филипповича арестовали,— шептались горожане,— то кто же гарантирован от полицейского произвола?» Среда, в которой, главным образом, вращался Королев, особенно железнодорожный мир, до того струсила, что не только прекратили посещение гостеприимного, сердечного дома Королева, но переходили на другую сторону, когда встречали кого-либо из многочисленной семьи Николая Филипповича, оставшейся без всяких средств! Правда, Королева, как и Победоносцева, скоро, сравнительно, освободили, но он долгое время оставался без места. Казалось бы, что за несправедливый арест должен был понести кару Дулкин, но, конечно, случилось обратное. Одновременно с Орлом обыски и аресты произведены были в Харькове, Москве, Петербурге и, как мы уже знаем,— в Смоленске. При этом выяснилось, что Департамент государственной полиции был превосходно осведомлен о деятельности народоправцев. Говорили, например, что некоторые из орловских народоправцев ходатайствовали о праве жительства в столице. Им дан был ответ: «все будут на Пасху здесь». Так оно и случилось: «все» на Пасху, действительно, были в столице, но только... в Доме предварительного заключения».

Говорили, что и эти лица, и вообще все дело обнаружены были совершенно случайно. При одном из обысков в Харькове найдено было письмо Юрия Кулябко, служившего у Натансона в контроле Орловско-Грязской ж. д. Тогда произвели обыск у Кулябко, при чем у него нашли переписку, давшую в руки жандармов нить, по которой они обнаружили все и вся.

Помимо упомянутых орловцев, к этому делу, по полученным в Орле сведениям, были привлечены: писатель каракозовец, отбывший каторгу, П. Ф. Николаев, Н. З. Попов, студенты Московского университета В. и В. Черновы, Е. Яковлев и А. Н.

Максимов; студенты Петербургского университета А. и А. Никитские, Н. Белецкий, М. Коллер, В. Зотов и Н. Скабичевский. Кроме того: Е. Троицкая, А. Лежава, С. Смирнов, Н. Чернов, Л. Лебедева, В. Жданов, М. Флеров, А. и М. Сыцянко, А. А. Федулов, Я. Чермак, М. Александров, М. Сушинский и К. Шамарин.

Теперь два слова о манифесте народоправцев. Вот его содержание:

«В жизни государств бывают моменты, когда на первый план, отодвигая все интересы, как бы существенны они ни были сами по себе, выступает один только вопрос, от разрешения которого в ту или иную сторону зависят дальнейшие судьбы народа. Такой момент переживает в настоящее время Россия, и таким вопросом, определяющим будущую судьбу ее, является вопрос о необходимости политической свободы. Самодержавие, в политике Александра III получившее наиболее яркое свое выражение и олицетворение, с неопровержимой ясностью доказало свое бессилие создать такой общественный и государственный строй, который обеспечил бы правильное развитие духовных и материальных сил страны. Направление настоящего царствования, резко выразившееся как в реформах последних годов, в виде учреждения земских начальников и ограничения местного самоуправления, так и в систематической поддержке капиталистического производства, показывает, что правительство неуклонно продолжает политику административного произвола и сословно-классовых интересов, всецело игнорируя вполне назревшие вопросы как государственной, так и народной жизни. Результатом такой политики явилась общественная деморализация и экономический упадок страны, предотвратить гибельные последствия и развитие которых правительство уже не может. Та часть русского общества, которая ясно представляет себе всю опасность современного положения, не видит иного выхода, как решительный поворот в сторону политики народных прав и интересов, что может быть достигнуто только путем непосредственного участия страны в делах управления, т.-е. заменою самодержавия, установлением свободных представительных учреждений.

Так как нет и не может быть надежды на то, что правительство добровольно вступит на указанный путь, то народу остается одно—противопоставить сорганизованную силу общественного мнения правительственной косности и узким интересам самодержавия. Создание такой силы и имеет в виду партия «Народное Право».

По мнению партии, понятие о народном праве включает в себя как понятие о политической свободе, так и понятие о праве народа на обеспечение его материальных интересов, на началах организации народного производства. Гарантиями этого права в глазах партии служат:

представительное управление на началах всеобщего голосования;

свобода вероисповеданий;

независимость суда;

свобода печати;

свобода собраний и ассоциаций;

неприкосновенность личности и прав ее как человека.

В виду того, что Россия не есть однородное целое, а очень сложное политическое тело, необходимым условием политической свободы является признание права на политическое самоопределение за всеми национальностями и областями, входящими в состав ее.

Так понимая народное право, партия ставит своей задачей—объединение всех оппозиционных элементов страны и организацию такой активной силы, которая всеми доступными ей реальными и материальными средствами добилась бы освобождения от современного политического гнета самодержавия и обеспечила бы за всеми права человека и гражданина.

Будучи глубоко убеждена, что ее стремления вполне соответствуют истинным потребностям исторического момента, партия надеется, что призыв ее найдет горячий отклик в сердцах тех, кто не потерял еще чувства своего человеческого достоинства, в ком самодержавие не вытравило сознания своих гражданских прав, кто измучен гнетом господствующего произвола и насилия, кому дороги интересы родины и высших идеалов правды и справедливости».

Возвращаюсь назад. Хотя я не принадлежал к партии «Народное Право», но, как было сказано, и члены ее вообще, и арестованные в особенности были весьма близкие мне люди, а потому исчезновение их крайне тяжело отразилось на психике моей и моего семейства.

Темп общественной жизни в Орле после разгрома партии «Народное Право» сильно понизился. Торжествовала одна сыскная полиция с сыщиком высокой марки—приставом Зубковским, которому, кажется, принадлежала честь выслеживания народоправцев до их ареста включительно. Он терпеть не мог интеллигенции. Этой интеллигенции пришлось вести почти обывательское существование с теми из уцелевших знакомых, о которых

я говорил на первых страницах описания орловской жизни. К счастью моему, еще в начале 90-х годов у меня не только завелись довольно прочные связи с Москвою, но я получил возможность более или менее продолжительного пребывания, не взирая на отсутствие права даже останавливаться в ней. Виновником таких благоприятных для меня условий в Москве был мой учитель Н. А. Вербицкий, о котором я не раз говорил. Из Чернигова он был переведен в Рязань, где познакомился с землевладельцами Баташовыми, интереснейшая история рода которых впоследствии была мною напечатана в «Русских Ведомостях», а затем вошла в I т. моих «Деревенских впечатлений». Зимнее время Баташовы проводили в Москве. Вот Вербицкий и предложил мне воспользоваться этим обстоятельством, чтобы получить возможность ездить в столицу. Я не заставил себя упрашивать и при первой же возможности, получив письмо от него, поехал в Москву и явился прямо к Баташовым. Никогда не забуду той любезности и того гостеприимства, какие проявили ко мне Баташовы и близкий их дому доктор Васильев, скоро погибший от заражения крови при одной из операций. В первый же приезд я настолько близко сошелся с моими новыми знакомыми, что получил от них предложение при всякой возможности приезжать к ним в именье «Гусевский Завод», расположенное на границе Владимирской и Рязанской губерний. При этом и мне, и жене моей предоставлено было право от Рязани и до завода путешествовать бесплатно по реке Оке на баташовском пароходе. Здесь же скажу, что я нередко пользовался любезностью Баташовых и не одну весну и лето проводил в их гостеприимном доме в «Гусевском Заводе», где управляющим состоял Альвиан Андреевич Вербицкий, родной брат бывшего моего учителя Николая Андреевича. Здесь—немного забегая вперед—скажу к слову, что когда, в 1895 году П. Н. Милюкова устранили из Московского университета и он вынужден был поселиться в Рязани, то также пользовался го теприимством Баташовых и, посещая «Гусевский Завод», занимался в архиве рода Баташовых.

Возвращаясь к Москве, скажу, что после нескольких поездок в столицу для меня и жены, помимо Баташовых, нашлись и еще приюты, хотя в полицейском отношении и не особенно надежные,—именно, мы имели возможность проживать у милейших людей—Муриновых и у переселившейся в Москву и сделавшейся учительницей на фабрике Циндeля К. Н. Дмитрюковой, которая, как я писал, лишилась места учительницы в Орле из-за знакомства со мною. Наконец, я пользовался приютом у Василия

Михайловича Соболевского, хотя для меня почлег у него был самым тяжким. Дело в том, что я смертельно боялся скомпрометировать редактора «Русских Ведомостей», считая это преступлением прямо перед страною. Но Василий Михайлович не проникался моими доводами, кажется, не совсем сознавая о грозившей ему тяжкой неприятности, если бы как-либо обнаружилось мое у него пребывание. Ночлеги мои у него бывали всегда случайные, если мы вместе возвращались в позднее время. Так однажды он предложил мне притти поздним вечером в редакцию и просмотреть мой рассказ, который должен был появиться в газете на следующий день. Я, конечно, отправился и засиделся в редакции до очень позднего времени.

— Пойдем ко мне ночевать, — сказал мне Соболевский.

На мои указания о возможности печальных последствий, Василий Михайлович заявил:

— Ну, какие там могут быть «последствия»? Просто вам у меня чего-то недостает и вы скрываете...

Что можно было после этого сказать? Я заночевал, но не спал всю ночь, тревожась возможностью появления полиции. И так было несколько раз. В 1895 году я получил разрешение на право жительства в Петербурге. Это обстоятельство до некоторой степени как бы узаконяло мое временное пребывание в запрещенной Москве, или, вернее, давало возможность увернуться, заявив, — если бы пришлось объясняться, — что «остановился в Москве проездом в Петербург». Но мне ни разу не пришлось прибегнуть к такой увертке. Скажу уже здесь к слову, что на вопрос, заданный мною тогдашнему директору департамента полиции Зволянскому, — почему мне воспрещено жительство в Москве, — он откровенно заявил, что вторая столица находится в полном ведении генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, и Департамент полиции не имеет права вмешиваться в московские порядки.

Но я забежал вперед.

Прежде чем объявлено мне было официальное veto относительно Москвы, я, как выше писал, получил почти право гражданства в столице. Дело дошло до того, что в 1894 году я явился в Москву уже в качестве члена IX Съезда естествоиспытателей и врачей. Это был замечательный съезд, отмеченный первым открытым выступлением земских статистиков. Виновниками легализации самого неблагонадежного земского элемента явились профессора Московского университета — Д. Н. Анучин и А. И. Чупров. Первый был заведующим секцией географии, антропологии и этнографии, а второй — подсекции статистики.

В конце 1893 года я не жданно не гадано получил от А. И. Чупрова письмо следующего содержания:

«С 3 по 11 января 1894 года имеет быть в Москве IX Съезд русских естествоиспытателей и врачей. При секции географии, этнографии и антропологии этого съезда учреждена подсекция статистики, по которой я назначен заведующим подготовительными работами. Сообщая о вышеизложенном, имею честь покорнейше просить вас принять участие в занятиях означенной подсекции и пригласить к тому же ваших сотрудников и других известных вам деятелей по статистике. В названной подсекции съезда было бы желательно между прочим обсудить некоторые вопросы, касающиеся земской статистики в предстоящих оценочных работах по закону 8 июня 1893 г., об организации текущей статистики и о губернских сводах земско-статистических трудов по основной статистике в тех губерниях, где они еще не сделаны. В видах большей успешности занятий подсекции, позволяю себе просить вас, не найдете ли вы возможным предварительно подготовить сообщения или данные как по указанным выше вопросам, так и по другим, которые вы считали бы полезным предложить секции. Если бы вам угодно было сделать какие-либо сообщения в подсекции, то я покорнейше прошу вас заявить о содержании их не позднее 15 декабря или в распорядительный комитет съезда, или мне для передачи комитету. По правилам IX Съезда каждый член вносит в его кассу три рубля, исключительно для научных целей. Иногородные лица, желающие принять участие в съезде, могут пользоваться льготами на проезд по железным дорогам. Для этого они должны известить распорядительный комитет съезда не позже 1 декабря о своем желании, адресуя письма в Московский университет на имя делопроизводителя комитета съезда Александра Андреевича Тихомирова, и, представляя свой членский взнос, сообщить свой точный адрес, станцию отправления и железные дороги, по которым будут следовать в Москву, чтобы дать возможность заблаговременно выслать членам их билет и необходимые удостоверения (для каждой железной дороги отдельно) на право пользоваться разрешенными тарифами по железным дорогам. Желательно, чтобы лица, присылающие заявления об участии в съезде, обозначили и ту секцию, на которую они намерены записаться, т. е., например, секцию географии».

Нужно ли говорить, что изложенное письмо от известного европейского ученого было крайне для меня не только лестно, но и чрезвычайно важно. Оно впервые после ссылки давало

мне возможность войти в состав высоко-научной организации, получить новые знания, обменяться мыслями и высказать свои суждения. Как однако это сделать? Пробыть неделю-другую в запрещенной столице, не выступив на широкую арену,— одно дело, но открыто быть членом громадного съезда — это совсем иное. Я написал обширное письмо А. И. Чупрову, в котором высказал все мои сомнения и на всякий случай послал на его имя трехрублевый членский взнос. Ответ Александра Ивановича был таков:

11 декабря 1893 г. Москва.

«Многоуважаемый Иван Петрович. Письмо ваше получил только вчера, так как раньше все время был в Петербурге. Деньги за билет передам по принадлежности; напрасно вы не отправили их прямо профессору Тихомирову, как я писал,— тогда не было бы задержки. Письмо мое какого-либо официального значения не имеет, но на существование подсекции статистики при IX Съезде естествоиспытателей и врачей вы можете ссылаться совершенно свободно, потому что тут нет никакого секрета и об этом объявлено формально. Извините за промедление, которое произошло без всякой моей вины. С истинным почтением и преданностью А. Чупров».

Из этого письма видно, что Александр Иванович совершенно не понял меня. Весьма возможно, что я слишком законспирировал свое письмо, чтобы надлежащим образом расшифровать его. Мне нужно было знать — могу ли я, не пользуясь правом жительства в Москве, явиться на съезд. Но, опасаясь, что письмо может быть перехвачено, ясно выразить свой запрос не посмел и, значит, так написал, что и понять трудно. Во всяком случае ответ Александра Ивановича ничего мне не дал, и я рискнул ехать на съезд на ура. И не пожалел. Не говоря уже о научном интересе съезда, о громадном значении его для статистики, я познакомился со многими выдающимися лицами. Конечно, ближе всего я узнал тех, которые входили в состав нашей подсекции. Как и следовало ожидать, наибольшее количество «имен» дали подсекции обе столицы. Москва представлена была такими лицами, как профессора А. И. Чупров, Н. А. Каблуков, И. И. Янжул; весьма заметны были и секретари нашей подсекции—В. А. Косинский, М. Н. Соболев, И. Х. Озеров. К ним следует присоединить и Л. И. Марееса; из профессиональных земских статистиков особенно выделялись заведующий статистическим бюро Московского губернского земства — Н. А. Каблуков, Н. П. Боголепов, С. М. Блеклов, П. А. Вернер. Наибольшую

популярностью из профессоров пользовались — А. И. Чупров и А. Ф. Фортунатов, хотя последний состоял в секции географии и агрономии. Мы, статистики, заранее знали А. И. Чупрова как знаменитого экономиста и профессора политической экономии и статистики в Московском университете, а А. Ф. Фортунатова — как известного агронома-статистика, читавшего сельскохозяйственную энциклопедию и сельскохозяйственную статистику в Петровской академии. Но мы не знали их как людей. Съезд дал возможность узнать Александра Ивановича и Алексея Федоровича и с этой стороны. Оба произвели на меня обаятельное впечатление. По внешнему виду они не имели между собою ничего общего, скорее представляли антиподов, но их духовный склад был на мой взгляд тождественный. Оба они выделялись редким альтруизмом, благожелательностью, терпимостью, необыкновенною чуткостью и поразительною скромностью. Эти выдающиеся ученые не только шли навстречу всяким запросам со стороны нуждавшихся в их помощи, но, можно сказать, предупреждали желания обращавшихся. Высокообразованные, они были идеальными учителями и представляли истинный клад для земской интеллигенции. И мы замучили их, не давая ни отдыха, ни срока. Не говоря уже о том, что и Александр Иванович и Алексей Федорович осаждались на съезде, их заставляли еще участвовать в частных собеседованиях, происходивших обыкновенно за обедом или ужином в московских трактирах. Оба блестящие ораторы, они нередко на обращение к ним отвечали полными смысла, захватывающими речами. Совсем иное отношение подсекции статистики было к третьему профессору — Ивану Ивановичу Янжул. Удивительный это был человек. Выдающийся экономист и публицист, автор солидных научных трудов и многих прекрасных статей, он резко отличался от своего друга А. И. Чупрова. Глядя на них, трудно было понять, что их связывало. Насколько первый был, как мы говорили, мягок, деликатен и чуток, настолько Янжул отличался,—как бы это сказать?—ну, противоположными качествами, что ли. Хорошо знавшие отношения Александра Ивановича и Ивана Ивановича передавали, что они разнились даже в мелочах. Так, Чупров обращался к Янжулу на «вы», а Янжул к Чупрову на «ты». Затем в сношениях с окружающими, при обмене мыслями, последний был весьма резок. Все это отталкивало земскую интеллигенцию от близости с Иваном Ивановичем, но, конечно, не мешало ей пользоваться его богатыми знаниями.

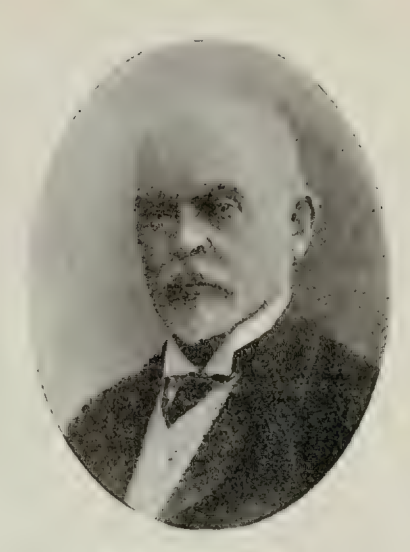
Петербург представлен был такими известными лицами, как В. Ю. Скалон, редактор известной, хотя и кратковременно

существовавшей газеты «Земство» и один из редакторов «Русских Ведомостей»; В. П. Воронцов—экономист и публицист, писавший под популярным псевдонимом В. В.; К. А. Вернер, Т. И. Рихтер, Л. К. Чермак, В. И. Яковенко и, наконец, Г. А. Фальборк и В. И. Чарнолусский. Последние два были известны всей, без преувеличения, интеллигентной России, как выдающиеся работники в сфере народного образования вообще и как энергичные деятели знаменитого петербургского Общества грамотности. Их называли «два Аякса»,—и это название имело все основания, так как Фальборк и Чарнолусский были действительно неразлучны, и имена их всегда встречались совместно во всех их трудах и деяниях. В то же время они совершенно не походили друг на друга ни по внешнему виду, ни по темпераменту. В то время как Фальборк брюнет, Чарнолусский чистейший блондин; первый—один комок нервов,—вспыльчив и резок, второй—уравновешен и сдержан. Но они как бы дополняли друг друга и оба вместе составляли, казалось, гармоничное целое. Наконец, среди петербургских статистиков был один из отцов, можно сказать, земской статистики—Василий Иванович Покровский, имевший уже 56 лет отроду. Воспитанник Московского университета, он, пробыв некоторое время учителем и судейским чиновником, уже в 1871 году, т.-е. за 23 года до того, занял место заведующего статистическим бюро самого либерального тогда Тверского губернского земства, сделавшись в то же время гласным его. С этого момента он тесно связал свою жизнь с Тверской губернией, описание которой составило двадцать томов. Не удовлетворяясь одной земской работой, Василий Иванович не бросал и литературной деятельности, заниматься которой начал еще почти двадцатилетним юношей. В Твери он редактировал «Тверской Вестник», издававшийся с 1878 по 1881 г. и занимавший одно из первых мест в среде провинциальной печати. Скажу, наконец, что Василий Иванович в сношениях с людьми отличался необыкновенной мягкостью, незлобивостью, добродушием, и эти душевные свойства запечатлелись на всей его фигуре, от которой, можно сказать, веяло радушием и благожелательностью ко всем окружающим.

Из провинциальных статистиков выдающимся человеком являлся заведующий нижегородским статистическим бюро Н. Ф. Анненский. Как ранее мною было сказано, я много слыхал о нем от В. В. Лесевича еще в то время, когда я был в Красноярске, а Анненский—в Западной Сибири, в городе Таре, Тобольской губ. Заочно знал я его также по статьям в «Деле» и «Отечественных Записках», но впервые увидел и познакомился



Н. Ф. Анненский



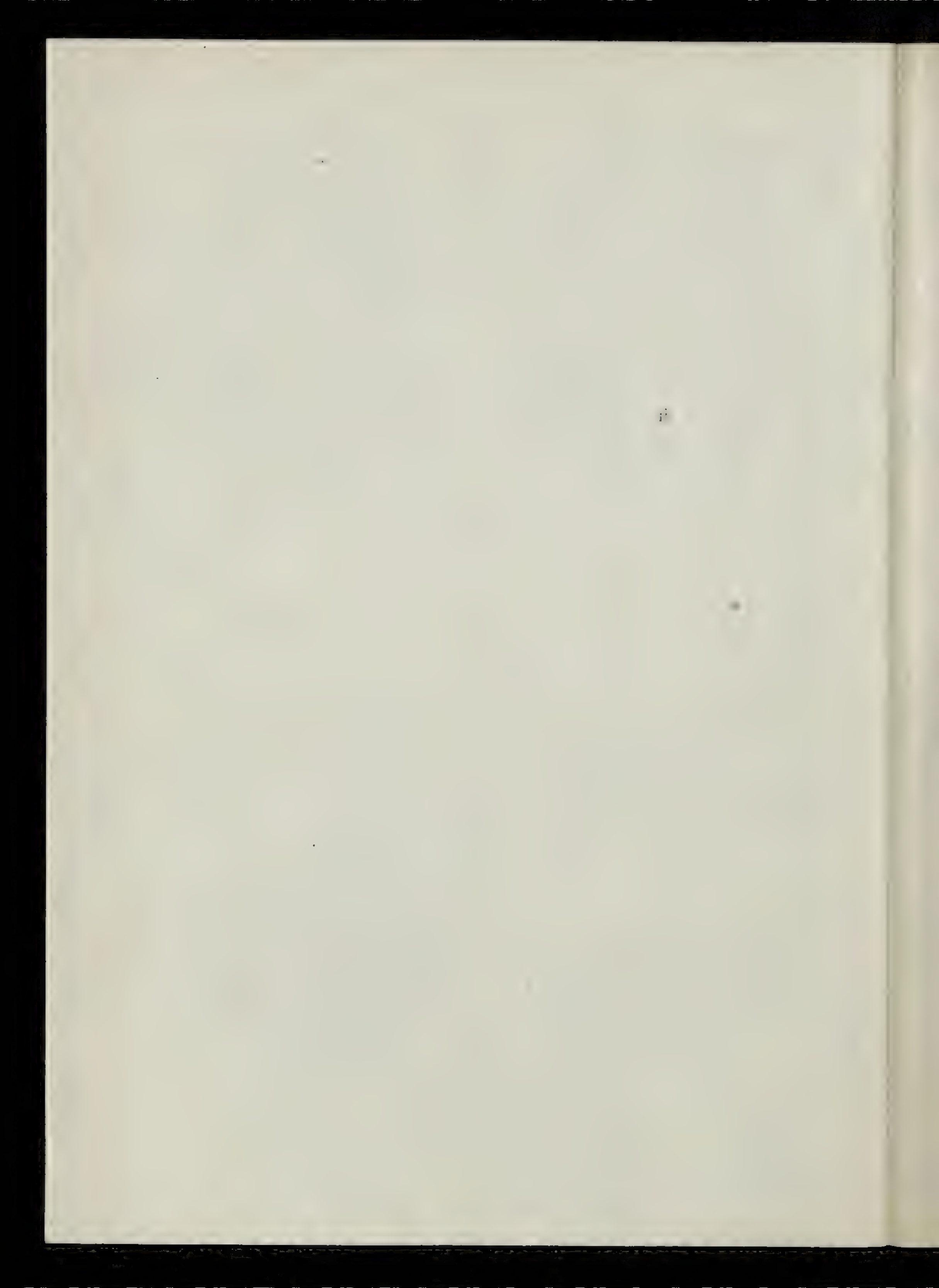
В. М. Соболевский



В. Н. Белоконская



П. А. Гейден



только на IX Съезде. Николай Федорович произвел на меня чарующее впечатление, прежде всего, молодостью своей души. Несмотря на 51 год, он своей жизнедеятельностью мог за пояс заткнуть многих молодых людей. Второе, что бросалось в глаза это было тонкое остроумие Анненского. Наконец, при более близком знакомстве, обнаруживалась широкая просвещенность Николая Федоровича,—окончившего, к слову сказать, юридический и историко-филологический факультеты и имевшего высокий статистический стаж. Статистикою он начал заниматься в министерстве путей сообщения с 1873 года, т.-е. за 21 год до того. В этот период времени Н. Ф. был командирован на статистические съезды в Пешт и Рим. Высланный в 1880 году в Сибирь, Николай Федорович вынужден был прекратить занятие статистикой, но, возвратившись в Россию в 1883 году, тотчас же возобновил его, сделавшись заведующим статистическим бюро Казанского губернского земства. Но особенную славу приобрел Анненский постановкой оценочно-статистических работ в Нижегородском земстве. Ничего нет удивительного, что у всех статистиков на съезде имя Анненского не сходило, как говорится, с уст, и все стремились воспользоваться как его статистическим методом, выдвинувшим нижегородскую статистику на первое место, так точно послушать на частных собеседованиях его остроумные речи, произносимые с большим ораторским искусством. Из общего состава земской нижегородской статистики выделялись П. П. Неволин, Ф. Н. Лазаревский, Н. М. Кисляков, М. А. Плотников, Е. П. Добровольский. Вместе с нижегородскими статистиками в подсекцию нашу записался и выдающийся земский деятель, Г. Р. Килевейн. Из земских статистиков других губерний следует отметить прежде всего Ф. А. Щербину. Окончив Петровскую академию и Новороссийский университет, он отдал дань времени в виде высылки административным порядком на четыре года в Вологодскую губернию. Через год после возвращения оттуда, именно в 1878 г., Федор Андреевич уже делается статистиком, начав с обследования Кубанской области. Вслед за этим Воронежское губернское земство приглашает его заведующим статистическим бюро. Произведя описание Воронежской губернии, Щербина в тот же период произвел обследование Владикавказской дороги. Таким образом, явился он на съезд уже с большим статистическим именем. Помимо того, Щербина известен был как автор многих статей, печатавшихся в прогрессивных органах. В его статистических работах особенное внимание обращало изучение крестьянских бюджетов, чему Федор Андреевич положил начало.

Большой статистический стаж имел и черниговский статистик, член губернской земской управы, ровесник Щербины Александр Поликарпович Шликевич, окончивший в свое время Петровско-Разумовскую академию. На него указывали, как на выдающегося почвоведа и творца комбинационных таблиц, сыгравших большую роль в земской статистике. Саратовская статистика представлена была также известным статистиком С. А. Харизоменовым, воспитанником Московского университета и землевладельцем Саратовской губернии. Он занимался статистическими исследованиями в разных губерниях (Таврической, Владимирской), но наиболее солидные труды сделаны были в губернии Саратовской. Харизоменов, как и Шликевич, принадлежали скорее ко «второму» чем к «третьему», бесцензовому земскому «элементу». Орловская статистика была представлена лицами, о которых я уже говорил, а именно Е. И. Победоносцевым, И. И. Львовым, А. В. Пешехоновым и В. А. Астафьевым. Среди полтавских статистиков наиболее выдающимися были заведующий бюро Н. Г. Кулябко-Корецкий, старый статистик и публицист, и Ю. А. Бунин; среди херсонских—одесский городской статистик А. С. Бориневич и статистик Александровского уездного земства Н. И. Борисов. Харьковская губерния была представлена Л. Н. Жебуневым. Из тамбовских статистиков обращал на себя внимание старейший из статистиков, заведующий бюро Н. Н. Романов. Тверская статистика была представлена старым статистиком И. М. Красноперовым, К. Я. Воробьевым и выдающимся земским и общественным деятелем кн. Д. И. Шаховским. В общем членов подсекции статистики насчитывалось восемьдесят шесть человек, из которых заметный процент не имел права даже въезда в Москву. И все эти лица, как и я, жили у знакомых без прописки, молча, чтобы не попасть в прессу, присутствовали на публичных заседаниях, высказываясь лишь в закрытых заседаниях комиссии. Только один из таких «нелегальных», В. И. Яковенко, решился как-то выступить публично, но он, произнеся речь, тотчас же помчался на вокзал и улетучился из Москвы. Давали волю мы своим чувствам и развязывали языки лишь на интереснейших собеседованиях за обедами и ужинами, которые устраивались, как я уже говорил, в московских трактирах, главным образом, в Большом московском трактире, что был на Воскресенской площади, против городской думы.

На одном из таких ужинов чисто политического характера речь произнес редактор «Русской Мысли», известный публицист—Виктор Александрович Гольцев. Его многие знали как

бывшего приват-доцента Московского университета, как общественного деятеля, который уже в 70-х годах преследовался правительством. В 1879 г. Гольцеву было воспрещено чтение лекций в Новороссийском университете; в начале 80-х годов — он посажен был на несколько месяцев в тюрьму. С давних пор Виктор Александрович был выдающимся земским деятелем, и с его именем связано было начало земского движения в северных земствах, как с именем И. И. Петрункевича—в земствах южных. Верный своим взглядам, и на ужине, о котором идет речь, Гольцев произнес чисто конституционную речь. Каким-то образом слух об этом дошел до московского генерал-губернатора, для которого конституция была то же самое, что и революция. Поднялась буча, осложнившаяся еще тем обстоятельством, что к этому моменту московская полиция разнюхала, что такое земские статистики. Говорят, что по этому поводу профессорам Анучину и Чупрову пришлось объясняться с генерал-губернатором. Передавали, что последний понятия не имел ни о какой статистике, а о земской—тем более. Когда хлопотали о включении в секцию географии подсекции статистики, то, будто, приводили самые элементарные доказательства, в роде того, что география, мол, говорит о разных странах, а во всякой стране имеется и население, и скот, и многое другое; все это необходимо «сосчитать», чем и занимается статистика.

Si non è vero è bene trovato. По думаю, что если все сказанное выдумано, то это близко к действительности. Доказательством служит самый факт разрешения образовать подсекцию статистики, что было бы совершенно немыслимо, если бы московский генерал-губернатор знал о земской статистике и о том «третьем» элементе, который был душою ее. Нужно думать, что генерал-губернатор представлял себе статистику в виде каких-либо канцеляристов, щелкающих на счетах и вычисляющих разные разности, или, в крайнем случае, педагогов в «футлярах». И вдруг доносят ему, что явились какие-то субъекты, именующие себя «статистиками», а в действительности — это сплошные крамольники. Тем из нас, которым нельзя было носа показать в Москву, пришлось или немедленно оставить последнюю, или притаиться у знакомых, не давая никаких признаков жизни. В этот момент со мною чуть не случилась беда. Засидевшись как-то очень поздно на одном из частных собеседований, я отправился ночевать к Муриновым. Звонил я, звонил,— не дозвонился и в отчаянии отправился на квартиру к К. И. Дмитрюковой, где ночевала моя жена, также прибывшая нелегально в Москву. Но у Дмитрюковой была только одна комната,

и приютить меня не было никакой возможности. Тогда я опять отправился к Муриновым, так как с ними заранее условился о ночлеге. Опять начал неистово звонить. Как вдруг подходит городовой. Я так и обомлел,— ну, думаю, конец. Но городовой выразил лишь негодование, что крепко спят, и стал сам звонить. Наконец, к моему счастью, послышались шаги, и прислуга отворила мне дверь. Но, увы, она не была предупреждена и чуть-чуть не выдала меня:

— Вы кто такой?—встретила она меня вопросом.

Я, ничего не ответив в присутствии городового, чуть не сшиб ее с ног, сам запер дверь и тогда уже совершенно растерявшейся, раскрывшей рот и вытаращившей глаза бабе ответил:

— Меня знают хозяева.

Таким образом благодаря добродушному городовому дело кончилось ничем, но будь на его месте какой-либо сыщик,—не миновать бы беды не только мне, но и Муриновым «за укрывательство».

Благодаря IX Съезду естествоиспытателей и врачей я приобрел много новых знакомств не только в Москве, но и в России. В это же время я ближе сошелся и с «Русскими Ведомостями». Громадный процент статистиков оказались корреспондентами этого уважаемого органа и чуть не ежедневно они в свободные часы наведывались в комнату «внутреннего отдела», которым заведывал в это время Петр Михайлович Шестаков, всем своим существом принадлежавший к «третьему элементу» и искренно сочувствовавший ему.

Возвратился я с женою в Орел освеженный и ободренный. Отошла немного та безнадежная тоска, которая одолела нас после провала партии «Народное Право», убравшего из Орла лучших из наших знакомых.

Повышенному настроению способствовали еще и слухи о безнадежном положении Александра III, страдавшего перерождением почек, или нефритом, и находящегося в Ливадии, где пребывал и знаменитый о. Иоанн Кронштадтский, пользовавшийся всероссийскою славою чуть ли не святого. Но, увы, все старания протоиерея Ивана Ильича Сергиева,—как он назывался по граждански,—не могли излечить жестокую болезнь, и, не взирая на свой атлетический организм, 20 октября 1894 г. император скончался.

Вот как охарактеризовал Александра III талантливый английский публицист Диллон:

«Сделавшись наследником престола лишь на 21 году,— говорит он,— Александр Александрович был так же мало подготовлен к обязанностям монарха, как любой из посетителей манежа. До коронации это сознание своей ограниченности было метко и полно: себя он называл «исправным полковым командиром»... Царь, по сложению, настоящий мясник, силен и мускулист чрезмерно. В молодости он сгибал подковы и высаживал плечами дверь. Фигура его громадна и неповоротлива, движения неловки... Нравственный облик Александра III также несложен. Добродетели его по большей части отрицательного свойства... В молодости он, по отзывам сверстников, был, что называется, «добрый малый». С годами, однако, в нем начала проявляться все сильнее и сильнее резкая грубость, переходящая по временам в беспричинную ярость, когда царь напоминает взбешенного быка. Тогда он способен издать самый жестокий приказ. Александр Александрович готовился к военной карьере. История его юности та же, что и большинства великих князей: утомительные военные парады, лошадиный спорт, рауты и те, допускаемые фешенебельностью, проделки, которые принято называть «шалостями молодости»... Когда профессору Соловьеву и Победоносцеву было поручено образование его старшего брата, ему дозволялось по желанию принимать столько умственной пищи, сколько он может переварить. И он воспользовался этим позволением широко, мало почерпнув из того, что ему предлагалось учителями. С детских дней царь питает к науке что-то в роде суеверного страха и изгнал бы ее из пределов своего царства, если бы мог. Для характеристики его взглядов на образование может служить следующая собственноручная подпись, сделанная им на докладе тобольского губернатора, в котором тот упоминает с сожалением о малом распространении грамотности среди населения губернии: «И слава богу». Участь всех стоящих на виду людей — получать прозвище — не минула и Александра III. С детства за ним утвердилось прозвище «мопса», весьма гармонирующее с его свиреподобродушной физиономией. Иногда оно чередуется с другим, хотя и не столь популярным. Массивное телосложение, медленные движения, огромная сила, походка боком, закинутая назад голова и бычачье потряхивание ею, взгляд исподлобья — все это вызвало ласкательную кличку «бычка», с которой обращался к нему отец и которую народ, по восшествии на престол, переделал в «быка»... Замечания, которые царь пишет на полях документов, более его характеризуют, чем его отрывочные беседы с министрами и придворными. Он записывает мысли,

вызванные прочитанным, сохраняя те живописные выражения, в какие они вылились, — мысли не всегда верные, а выражения не всегда утонченные. Чаще других встречаются: «экое стадо свиней!» или «экая скотина!».. Завтрак подается в час и состоит из трех перемен. После него царь отдыхает в парке, гуляет или работает, разговаривает с членами своего семейства, ген. Рихтером, Черевиным и с адъютантами. В это время он читает газеты: «Гражданин», «Московские Ведомости» (на «Новое Время», подносимое ему ежедневно на особой бумаге, он редко удостаивает бросить взгляд) и слушает чтение конспекта новостей за последние дни, состоящего из выписок из русских и иностранных газет. Кроме этих выписок и одной иностранной газеты, из своих домашних новостей царь с удовольствием слушает разные великосветские сплетни, и ни один из приближенных не обладает в такой степени талантом приправлять их сальными анекдотами и беспощадными, циничными намеками и недомолвками, как ген. Черевин, известный всей столице как царский шут... Для иллюстрации дворцовых расходов нельзя не привести следующую запись по конюшне: «На подмазку хвостов для царских лошадей — 30.000 руб.». Несмотря на все перечисленные многотрудные занятия, у царя остается все-таки много свободного времени, которое он не знает, куда девать. Окруженный толпой беззастенчивых льстецов и тесным кругом семьи, царь не имеет друзей. Он подозрителен и недоверчив и не без основания, конечно, склонен в угодливой преданности своих избранных людей видеть скорее расчет, чем искренность. На опыте он убедился, какую цену имеют самые торжественные уверения тех из его советников, которым он доверял более всего. Так было в истории с Катковым, которого он упрекал за то, что тот «за тридцать сребренников продал его жидам». Так было с гр. Д. А. Толстым, кн. Барятинским, Вышнеградским, — все они обманули его доверие, и горечь разочарования, усилив природную мнительность, прибавила к его от природы не особенно великодушному характеру черты мстительности и злопамятности. Даже его братья и другие родственники держатся в стороне, опасаясь сделать промах, какою-либо неловкостью возбудить недоверие. Таким образом, атмосфера людской симпатии отсутствует во дворце, даже в самом интимном кружке царя; вокруг него хуже чем пустота, это скорее сгустившаяся до невероятной степени атмосфера взаимной подозрительности, недоверия и страха, в которой царь боится всех и все боятся его. Погруженный в эту атмосферу, царь падает духом и в тоске тщетно

ищет утешения в родной семье. Жена его, в молодости легкомысленное, живое создание, до страсти увлекавшееся танцами, под старость впала в ханжество; старший сын — эпилептик от рождения, придя в возраст, стал до неприличия увлекаться женщинами и, по словам придворных, не дает проходу ни одной фрейлине, чем часто возбуждает гнев своего отца; старшая дочь болезненна и некрасива, и сознание своего безобразия делает ее злой, нервной и невыносимой в обращении; средний сын, Георгий, болен неизлечимой болезнью. Таким образом, никогда еще, по общим отзывам, не царила во дворце такая мрачная, удручающая атмосфера, как теперь. Умственные занятия царя далеко не столь утомительны, как его физические труды... Царь по натуре не из храбрых, что обнаружилось еще во время русско-турецкой войны. Последующие события, в особенности смерть его отца, еще усилили в нем природную трусость. Всем известно, как первое время по вступлении на престол он не выходил из задних комнат Гатчины, опасаясь даже караульных офицеров. Впоследствии впечатление страха несколько сгладилось, хотя и теперь он никуда не выезжает без тысячи предосторожностей. Так, в Петербурге по улицам, где он проезжает, рассеяны шпионы, изображающие «народ». Если он едет вечером, закрывают проезд по этим улицам. По железной дороге он едет еще с большими предосторожностями. Для охраны линии производят настоящую мобилизацию войск, сгоняя целые корпуса, как, например, во время последней поездки. Он едет совсем особенно: пускают три поезда, совершенно одинаково составленные, идущие через четверть часа каждый, так что неизвестно, в котором из них находится «сам». Он отменил знаменитый майский парад, опасаясь такой массы войск. Он боится встречи с каждым лично ему незнакомым человеком, и в Гатчине приняты все меры, чтобы царю не попался на глаза незнакомец. Он избегает всяких празднеств, официальных собраний не только из склонности к семейной жизни, но и из страха, потому что в массе людей чувствует себя не безопасно... Отношения царя к евреям, кроме убеждения, что все неправославное подлежит геене огненной, имеет еще специфическую причину. Его убедили, что ряды русских революционеров пополнялись и пополняются преимущественно евреями, что самая идея революции внушена русскому обществу евреями. Вот почему он так беспощаден к ним. Рабская толпа сановников с Победоносцевым во главе эксплуатирует эту ненависть в своих целях и еще более раздувает ее. В правлении царь всегда стремится быть единодержавным и ограничивает

деятельность министров. Он прежде всего—самодержец, его власть—от бога, он верит в это и считает себя непогрешимым. Этот тупой и ограниченный ум, раз уверовав в божественное начало, руководящее им во всех его действиях, огражден непроницаемым щитом от всякого посягательства логики... Его самодержавность сказывается в том презрении, с каким он относился к Государственному совету, потерявшему теперь даже тень значения. Оно сказывается также в презрении царя к так называемому самоуправлению, к суду присяжных, словом, ко всему, что является хотя бы и слабым ограничением единовластия. Вот почему царь ненавидит иностранную политику. Хоть и смутно, но он сознает, что его божественные веления, непререкаемые для России, встречают критику и неповиновение за ее пределами. Франко-русский союз, о котором столько кричат французские и русские шовинисты,—больное место царя. Он, самодержец «милостью божьею», вынужден протягивать руку народу, изгнавшему у себя это «милостью божьею»! Только жестокая необходимость могла заставить его допустить этот союз; при первом удобном случае он порвет его. Царь допустил союз с Францией под давлением непреодолимого страха войны. Он боится ее как человек по природе трусливый и как человек нерешительный, зная по опыту, как возможны на войне всякие случайности. Кроме того, он недоверчив и подозрительно относится к своим генералам. Самых опытных и талантливых он держит в отдалении и доверяет Ванновскому, убедившись в его ограниченности. Ничем нельзя напугать так царя, как бомбой, при одном воспоминании о которой он впадает в изнеможение, и военным заговором. Последнего он, пожалуй, боится больше, чем первой, и сторонится гвардии» [1].

Земцы, воспользовавшись новым царствованием, решили, при посредстве адресов, направить царя на путь хотя бы земского представительства. До какой степени их вожделения были скромны, можно судить по адресу орловских земцев, автором которого был представитель самого влиятельного в губернии Елецкого уезда и губернский предводитель дворянства М. А. Стахович [2]. Вот, что, между прочим, говорилось в нем:

---

[1] Диллон не упоминает, что в течение царствования Александра III за 80-е годы,—1881 по 1889 включительно,—было казнено 26 государственных преступников.

[2] Племянник небезызвестного в свое время писателя, тоже Михаила Александровича Стаховича. Мне передавали, что автор адреса был в свое время страстным поклонником Л. Н. Толстого и пешком паломничал к нему.

«Мы, земские люди, от всех сословий земли приносим к престолу, которого мы горды сознавать себя широким и стойким подножием, непоколебимую, неистощимую нашу верность; считая представительство наше прежде всего представительством нужд народных, мы просим доверия и одобрения вашего, государь».

И что же? При приеме 17 января 1895 г. дворянских депутаций, явившихся приветствовать царя по случаю бракосочетания, он, топнув, говорят, ногою, отрезал:

«Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего правления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой отец».

Можно безошибочно сказать, что этим заявлением Николай II срубил сук, на котором сидел: он отверг и дворянство, и дворянское земство, действительно являвшихся «широким подножием престола». 17 января 1895 г. это подножие было выдернуто из-под престола, и последний очутился на воздухе, чтобы рано или поздно полететь в бездну.

Обескураженное, потерявшее всякую надежду на эволюцию земство в лице лучших своих представителей вступило с этого времени если не на чисто революционный, то, во всяком случае, на нелегальный путь и стало помогать рыть могилу самодержавию.

Лично для меня 1895 г. был знаменателен празднованием 25-летнего юбилея А. И. Чупрова и потому еще, что в конце его я не ждано не гадано получил вдруг разрешение не только посещать С.-Петербург, но и жить в нем.

В этой столице в последний раз я был в год ареста, т.-е. в 1879 г. Следовательно не видел ее ровно 16 лет!

Но далеко не одним этим объяснялось мое желание немедленно воспользоваться разрешением проживания в С.-Петербурге: в провинции появились ясные признаки, что в стране наступил, несомненно, какой-то перелом. Хотелось лично узнать, в чем дело, лично прислушаться к биению пульса этой новой жизни в самом центре родной культуры, по знаку которого меняется обыкновенно и физиономия интеллигентной России, или, точнее, учащейся молодежи, всегда являющейся и провозвестником, и горячим сторонником всего нового.

И вот, в декабре 1895 года я явился уже в столицу, чтобы провести в ней все праздники, прихватив и начало 1896 г.

Мой приезд совпал с тяжкими не только для Петербурга, но и для всей России днями для Вольного экономического общества вообще и для его знаменитого Комитета грамотности в особенности. Нависшие грозные тучи подтверждали, что реакция уже закусила удила и не знает удержу.

В самом деле, основанное 130 лет тому назад, при императрице Екатерине II, старейшее в России и одно из старейших в Европе общество занималось самыми мирными высококультурными делами, при чем еще в царствование Александра I особенное внимание было уделено начальному народному образованию. В мрачное царствование Николая I Общество устраивало в городе публичные библиотеки, образовало капитал для издания книг для народа, а в 1847 г. проектировало учредить при Обществе особый Комитет грамотности. Но это немыслимо было осуществить в эпоху самой жестокой реакции. Лишь с восшествием на престол Александра II и в год освобождения крестьян удалось, наконец, открыть Комитет грамотности, в котором стали работать выдающиеся представители интеллигенции во главе с Г. А. Фальборком и В. И. Чарнолусским. В 1895 г. Комитету исполнилось как-раз 35 лет, и за этот период он издал 126 народных книг в количестве свыше 2.000.000 экземпляров и не менее этого числа распространил полезных чужих изданий. Далее, Комитет способствовал устройству множества сельских бесплатных библиотек.

Нужно ли говорить, что С.-Петербургский комитет грамотности за описанную деятельность пользовался самой широкой популярностью во всей стране. Казалось бы, что правительство, мало-мальски признающее пользу просвещения, должно было бы гордиться таким обществом, поощрять его, помогать в работе. Но не тут-то было: Комитет признан был вредным, и правительство решило подчинить его ведению министерства народного просвещения. Вот по этому-то поводу и состоялся ряд бурных заседаний в стенах Вольного общества. Благодаря знакомству с Фальборком и Чарнолусским мне не трудно было попасть на эти знаменитые заседания.

И первое же из них произвело на меня самое глубокое впечатление.

Прежде всего, я давным-давно не видел такого множества народа, какое собралось в известном всей России помещении Вольного экономического общества. Затем, я прямо уже был поражен резкими громогласными отзывами о правительстве, ко-

торые доносились со всех углов залы Общества. В Орле, конечно, все были бы за это арестованы. Там считалось верхом свободы право рассуждать на тему о начальном образовании на собраниях Общества народных чтений. Да и последнее тянуло свое существование благодаря лишь заступничеству двух предводителей дворянства: губернского—М. А. Стаховича и бывшего уездного, а затем председателя губернской земской управы—В. М. Козлова, о котором я выше говорил.

Но я совсем уже, можно сказать, растерялся и все ожидал появления жандармов, когда началось заседание. Открыл его совершенно худой старик, по внешнему виду, типа английского лорда, с бакенбардами и небольшой бородкой.

— Это президент Императорского вольного экономического общества—граф Павел Александрович Гейден, — ответили мне ближайшие соседи на мой вопрос, кто председательствует.

Когда он начал говорить, то произвел на меня почти комическое впечатление: гр. Гейден необыкновенно заикался. «Вот как расстроили, подлецы, нервы Павла Александровича, как он, бедняга, заикается!»—донеслось до меня шопотом сказанное объяснение недостатка президента. Но чем дальше, тем он говорил лучше и лучше, а что самое для меня удивительное,—не щадил правительства, резко укорял его за желание отнять Комитет грамотности от Вольного экономического общества. Затем, предоставляя право голоса ораторам, гр. Гейден допускал прямо для меня невероятную свободу слова. От правительства, как говорится, перья летели. Особенно сильное впечатление произвели на меня речи Г. А. Фальборка и В. П. Чарнолусского, быть-может потому, что они были мои знакомые. Первый горел огнем, метал громы и молнии по адресу правительства; второй, наоборот, говорил сравнительно спокойно, но не менее сильно, чем его друг. В конце-концов вынесена была резолюция, в которой говорилось о необходимости требовать от правительства взять свое решение обратно. И гр. Гейден, по предложению собравшихся, принял на себя эту тяжкую миссию.

Чтобы не возвращаться более к Комитету грамотности, здесь же скажу, что никакие усилия не могли спасти его, и в 1896 г. он передан был в министерство, прямо враждебное просвещению,—именно в министерство народного образования, и, можно сказать, тотчас погиб. Правительство же и на этом не могло успокоиться: оно даже изъяло из продажи и воспретило вообще «Историю С.-Петербургского комитета грамотности», составленную Д. Д. Протопоповым.

Совершенно иное впечатление произвели на меня заседания в помещении того же Вольного экономического общества, на которых проявилось новое веяние в русской жизни в виде марксизма. Знакомство с марксизмом было положено еще раньше переводом на русский язык знаменитого «Капитала» Карла Маркса, но лишь в середине 90-х годов он проторил себе широкий путь.

Около этого времени у меня произошла история с журналом «Северный Вестник». Он начал издаваться в 1885 г., под редакцией одной из выдающихся русских женщин — Анны Михайловны Евреиновой, получившей за границей степень доктора прав. В этот период в журнале принимали участие такие выдающиеся писатели, как Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, Владимир Г. Короленко, С. Н. Южаков, Н. А. Рубакин и др. По направлению «Северный Вестник» в это время очень напоминал «Отечественные Записки». И я послал в этот журнал из Сибири свою статью о Т. М. Бондареве. С 1891 г. редактором журнала сделалась дочь редактора «Русской Школы», с которым я очень был хорошо знаком, как постоянный сотрудник,— Любовь Яковлевна Гуревич. Это обстоятельство и было причиной тому, что я принял ее предложение взять на себя областной отдел, и с начала 1892 года стал вести его. Но вчитываясь в журнал, заметил, что от него несет далеко не прежним духом, особенно от статей «А. Волынского», под псевдонимом которого писал кандидат прав А. Л. Флексер. Стал я колебаться—не бросить ли писать в журнале, из которого ушли первые сотрудники? Перевес был на стороне мнения, что следует бросить. Но в 249 нумере «Русских Ведомостей», от 9 сентября 1892 г., появился лестный отзыв о моих статьях в «Северном Вестнике». Для меня же мнение названной газеты имело решающее значение, и я решил продолжать вести отдел до момента, когда окончательно выяснится физиономия журнала. Ждать долго не пришлось. Волынский скоро, что называется, распоясался, направив стрелы против таких корифеев русской литературы, как Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Михайловский и т. д. И в то же время в газете появилось известие, что он стал фактическим редактором журнала. Тогда я в начале 1893 г. по телеграфу послал отказ от сотрудничества.

В этом году журнал стал уже прямо на путь декадентства, имея во главе таких лиц, как Гиппиус, Мережковский, Сологуб и др. Чтобы не возвращаться более к этому журналу, скажу, что в конце 90-х годов он, как и следовало ожидать, скончался естественною смертью: его перестали читать.

С раннего детства воспитанный на образчиках великой художественной русской литературы, зачитываясь с юношеских лет Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым, Некрасовым, Львом и Алексеем Толстыми, Тургеневым, Гончаровым и другими, а затем молодыми, высокоталантливыми художниками, как Короленко, Чехов, Елпатьевский, Максим Горький и другие, я просто не выносил бездарного, на мой взгляд, символизма, с места в карьер начавшего считать себя солью русской земли и с презрением взиравшего на прошлую и настоящую русскую литературу.

Но если у меня возникло совершенно отрицательное отношение к замеченным в столице новым течениям, то я вполне был удовлетворен условиями личной моей жизни. Остановился я у Лесевичей, живших на Лиговке и принявших меня более чем тепло и радушно.

Беседы с Владимиром Викторовичем доставляли мне высокое наслаждение. Всесторонне просвещенный, чрезвычайно остроумный, наблюдательный, он особенно бесподобен был в критике существовавшего порядка вещей. Некоторые знакомства с различными сферами и, между прочим, близкими к правительству дозволяли ему знать многие, так сказать, тайны, недоступные обывателю.

И, основываясь на подобного рода данных, а также на данных из иностранной печати, Лесевич предсказывал крах российского самодержавия при первой неудаче последнего в какой-либо войне, когда армия прекратит защиту трона. Нового императора он считал человеком прямо недалеким и подтверждал слух относительно полной неспособности его к управлению.

Так придворный доктор Симоновский, с которым Лесевич познакомился во время своего сидения в Литовском замке, где в то же время содержался и будущий придворный врач, сообщал, что царь, когда, будучи еще наследником, посетил Японию, получил настолько сильный удар по голове от одного фанатика-японца, что у него треснул череп близ виска и в этом месте лишь тонкий слой кожи прикрывал расщелину. При малейшем умственном труде в этой части кожа просвечивала от прилива крови, что означало утомление. Вследствие этого доктора воспретили царю утруждать себя какими бы то ни было умственными работами мало-мальски серьезного характера. Поэтому министры все доклады свои составляли в виде легких фельетонов, при чем дежурный доктор, при посредстве особой трубки,

следил за расщелиной и, если замечал, что кожа покраснела, немедленно давал знак, и чтение доклада министром прекращалось.

Далее, со слов воспитателей царя, Владимир Викторович говорил, что условия жизни наследников престола таковы, что они даже не могут быть людьми солидно просвещенными: «Только-что начнешь заниматься,— передавал один воспитатель Лесевичу,— как является какой-либо придворный чин и докладывает, что, по требованию царя, надо выйти к такой-то депутации или к посольству такой-то державы. В последнем случае наследнику надо еще одеться в соответствующий мундир» и т. п.

Беседы на разные политические темы чередовались с беседами на темы литературные, общенаучные и особенно философские. Должен сознаться, что, будучи совершенным профаном в философии, я, как школьник, только слушал, что говорил Лесевич. А он говорил о любимой своей науке весьма интересно, при чем, ясно сознавая, что в лице моем имеет дело с чистым, можно сказать, листом бумаги в вопросах философии, писал на нем возможно понятнее, разжевывая и размалывая наиболее трудноваримую философскую пищу. В это время Владимир Викторович увлекался немецким философом Рихардом Авенариусом, о котором он потом писал в «Русском Богатстве» и из-за статьи Мокиевского о котором у него впоследствии вышло крупное недоразумение с Н. К. Михайловским [1]. Когда Лесевич уяснял мне, по Авенариусу, «теорию познания», то, не взирая на все его усилия, я пасовал перед такими жупелами, как «апперцепция» или, еще того хуже,— «тимематологическая

---

[1] Забегаю вперед, чтобы здесь к слову рассказать, как я впоследствии, хорошо познакомившись с Михайловским, старался устроить примирение его с Лесевичем. С первых же слов выяснилось, что Николай Константинович и не думал даже сердиться на Лесевича и с добродушным юмором вот что сообщил об этом инциденте. «Я,— приблизительно говорил Михайловский,— понятия не имею о философии, а Лесевич и Мокиевский понимают ее. Когда Лесевич печатал в «Р. Б.» свои статьи об Авенариусе, я, должен признаться, мало понимал их и поэтому считал хорошими, а когда пробежал статью Мокиевского тоже по поводу этого Авенариуса, то уже совершенно ничего не понял и поэтому считал отличною, так как о философии у меня создалось мнение как о самой высокой и самой темной науке. И вдруг однажды входит в редакцию взволнованный, чуть не трясущийся от негодования Лесевич и заявляет, что не находит слов для выражения своего упрека по поводу полемических статей Мокиевского.— Полемических?!!— восклицаю я и поясняю в чем дело. И это пояснение подлило масла в огонь: в нем Лесевич увидел — положим, правильно— невежество и — совсем неправильно — неуважение к его статьям. И я ничего не мог поделать».

апперцепция», «антропоморфическая апперцепция», «эктосистемный», «эндосистемный», «солипсизм» и т. д. Владимир Викторович придавал такое значение Авенариусу, что решил посвятить ему ряд лекций в провинции и, между прочим, однажды обратился ко мне с просьбою, если идея его осуществится, помочь ему в тех городах, где у меня имеются связи и, особенно, где буду жить. Я, конечно, изъявил полное согласие, но порекомендовал, чтобы Владимир Викторович не упоминал тех терминов и слов, которые я привел.

— Но ведь я их поясняю, перевожу, раскрываю скобки.

— Все это верно, но сами они производят ошарашивающее впечатление, граничащее с паническим ужасом.

Владимир Викторович залился гомерическим смехом.

— Что вызывает у вас такое веселое настроение?— отозвалась из соседней комнаты жена Лесевича, Лидия Парменовна.

— Авенариус!— ответил я...

— Боже! Неужели он может быть причиною такого заразительного смеха?

— Представьте себе, Лидия Парменовна,— подтвердил Владимир Викторович, говоривший, к слову сказать, с женой на вы,— в лице Ивана Петровича вы нашли себе горячего сторонника.

И тут же, шутя, жаловался, что жена не прочла ни единого его философского произведения.

Но самое ценное, что в первый приезд приобретено было мною через Лесевича,— это знакомство с Н. К. Михайловским.

Прежде чем описать это событие, считаю нужным сказать, что уже в начале 90-х годов, с 1891—1892 г., журнал «Русское Богатство» постепенно делается alter ego бывших «Отечественных Записок». Правда, немало корифеев русской литературы, выдающихся в то же время сотрудников этого знаменитого журнала, сошли со сцены. Умерли Некрасов (в 1877 г.), Салтыков-Щедрин (в 1889 г.), тяжело и безнадежно заболел Глеб Успенский, умерший только в 1902 г., некоторые, можно сказать, пережили самих себя. Но остался Н. К. Михайловский, вокруг которого и стали группироваться как бывшие крупные представители «Отечественных Записок», в роде В. В. Лесевича, частью Н. Ф. Анненского, так и молодые литературные силы, направление которых соответствовало направлению названного журнала. Из этих новых сил особенно выдавался В. Г. Короленко, слава о котором уже гремела к середине 90-х годов.

Да иначе и быть не могло, если иметь в виду, что к этому времени русское общество обладало уже такими литературными

ценностями, как «Сон Макара», «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Иом-кипур», «В голодный год», «Без языка». С 1895 г. В. Г. Короленко стал членом редакции «Русского Богатства», как и другой мой знакомый по ссылке А. И. Иванчин-Писарев. Это обстоятельство дало мне предлог как-то днем забежать в редакцию. Оба названных лица приняли меня чрезвычайно тепло и радушно, но были так заняты, что я долго и не засиживался. Они просили меня сотрудничать и заходить по четвергам вечером, когда в редакции бывает нечто в роде jour fix'ов. Я и собирался побывать на одном из этих вечеров, но в первый раз мне не хотелось являться одному из-за Михайловского.

В своем месте я уже говорил, какую роль играл этот знаменитый писатель, с каким захватывающим интересом читались его социологические, критические и публицистические статьи в «Отечественных Записках». Этот интерес не только не остыл, а, пожалуй, возрос к 90-м годам.

Не только воочию видеть, но и познакомиться с таким лицом было, конечно, чрезвычайно заманчиво. Поэтому я обеими руками ухватился за предложение Лесевича — провести вечер в редакции «Русского Богатства».

Не знаю как кому, а мне в жизни ни разу не удавалось нарисовать в своем воображении хотя бы приблизительно верную внешность выдающегося человека перед знакомством с ним. Всегда увидишь то, чего совершенно не ожидал. По отношению к писателям мне всегда казалось, что тем выразительнее во всех отношениях фигура их, чем больше нравились их произведения. Таким представлял я себе и автора въевшихся в мою память статей, как «Герой и толпа», «Что такое прогресс?», «Что такое счастье», «Десница и шуйца гр. Л. Толстого», «Теория Дарвина и общественные науки» и др. Когда мы с Лесевичем в назначенный вечер вошли в помещение редакции, то среди бывших там в это время лиц я менее всего рассчитывал, что необыкновенно скромный, молчаливый, словно бы даже конфузливый, среднего роста, в темной пиджачной паре господин, с седыми, вверх причесанными волосами, с седою же небольшой бородкой, с добрыми глазами, смотревшими на меня через pince-nez, и есть Михайловский. Лесевич представил меня ему; он молча протянул руку, закурил папиросу и словно бы стал всматриваться. Я почувствовал себя крайне неловко. Но выручил меня Иванчин-Писарев, всегда живой, находчивый и остроумный.

Благодаря ему, вспомнившему, к слову сказать, о нашем совместном жительстве в Красноярске и Минусинске, я скоро почувствовал себя в редакции, как дома. Однако на первый раз визит наш был очень короток: через 2—3 дня должен был выйти очередной нумер «Русского Богатства», работы поэтому в редакции было очень много, и мы скоро ушли.

В. Г. Короленко пришел почти к моменту нашего выхода, так что мы с ним лишь поздоровались и попрощались. Но для меня был важен первый шаг,— теперь уже при каждом приезде своем в Петербург я решил в уме самостоятельно посещать редакционные jour fix'ы.

Помимо названных лиц из литературного мира, в этот приезд я виделся еще с Е. П. Карповым. Знал я его когда-то зеленым юношей и молодым человеком, а теперь он был уже солидный мужчина, даже с маленьким брюшком.

За время от возвращения из Сибири до первой моей с ним нынешней встречи он получил уже режиссерский стаж, так как был режиссером сначала в Рабочем театре, потом в Александринском, а сейчас — в Малом театре, «Суворинском». Кроме того, Евтихий Павлович писал и в «Русской Мысли», и в «Русском Богатстве», и в «Русских Ведомостях». Наконец, он выдвинулся как недюжинный драматург, при чем пьесы его из крестьянской и рабочей жизни, как, например, «Рабочая слободка», «Мирская вдова», «Шахта» и др., имели значительный успех. Карпов, словом, имел уже прочную почву под ногами и жил с комфортом.

Наконец, я не раз посетил редакцию «Русской Школы», в которой числился постоянным сотрудником и много в ней писал.

Главным образом бывал я у милейшего редактора Я. Г. Гуревича. С гладко выбритым подбородком, без усов, с большими седыми бакенбардами, он по внешнему виду был типичнейший гражданский генерал, каковым он в действительности состоял, как директор хотя и собственной, но известной чуть не всей России гимназии. Яков Григорьевич был просвещеннейшим педагогом, состоял приват-доцентом всеобщей истории С.-Петербургского университета и был отличным редактором издававшегося им журнала «Русская Школа». Лично ко мне он относился необыкновенно радушно, и всегда у него встречал я самый теплый прием.

Оставил я Петербург после первого приезда в него с неустойчивым чувством разочарования и в то же время удовлетворенности и решил почаще посещать центр русской культуры, чтобы поглубже вникнуть в сложную его жизнь.

В Москве я побоялся оставаться на этот раз, опасаясь, как бы за мною не следили из Питера, чтобы узнать, не проживаю ли я и в запрещенной столице. Мне не хотелось в виду этих соображений компрометировать кого-либо из знакомых, у которых я должен был бы приютиться.

Поэтому я прямо поехал в Орел, где от сотрудника «Русских Ведомостей», внука декабриста, известного историка и земского деятеля В. Е. Якушкина, застал письмо, имевшее для меня чрезвычайно чреватые последствия.

В этом письме Вячеслав Евгеньевич писал, что в Орел приедет специально для свидания со мною князь Петр Дмитриевич Долгоруков, чтобы пригласить меня заведывать столом по народному образованию в Курском губернском земстве.

Громкая княжеская фамилия, эта фамилия «рюриковича», привела меня в некоторое смущение. Всего дня через 2 или 3 швейцар одной из второстепенных гостиниц принес мне визитную карточку Долгорукова, с просьбой зайти к нему по касающемуся меня делу. Я отправился и в небольшом номере увидел крупную фигуру князя, сразу поразившего меня своею простотою, деловитостью и просвещенностью.

Сообщив, что Курское губернское земство поручило ему подыскать лицо для организации и заведывания столом по народному образованию и что он, Долгоруков, остановился на мне, как, с одной стороны, рекомендованном гласным Курского же губернского земства Якушкиным, а с другой — известном ему, Долгорукову, писателе, разрабатывающем, между прочим, и вопросы по народному образованию, он затем изложил свой взгляд на это дело, горячо доказывая необходимость возможно скорейшего осуществления всеобщего обучения, и предложил мне немедленно подавать прошение в Курскую губернскую земскую управу, которая, с своей стороны, сейчас же возбудит ходатайство о принятии меня на службу.

— Но вряд ли это состоится, так как и губернатор Шидловский и жандармский полковник Дудкин никоим образом не дадут обо мне такого отзыва, чтобы я был утвержден курской администрацией.

— Ну, мы уж постараемся как-нибудь уладить дело, а вы только поскорее посылайте прошение.

Я, конечно, охотно согласился на это, так как, во-первых, сам был сторонником спешного просвещения народа, а во-вторых, жена моя, что называется, рвалась к этому делу.

Ее, бедную, администрация никоим образом не допускала к деятельности в сфере народного образования, и я мечтал,

что, сделавшись заведующим столом, могу пристроить и друга моего к этому любимому ею делу.

Моему удивлению не было пределов, когда сравнительно скоро я вдруг получил от Курской губернской управы телеграмму с уведомлением, что со стороны администрации нет препятствий для службы в Курском земстве и чтобы я немедленно прибыл в Курск.

В Орле высказывали предположение, что Шидловский и Дудкин так желали избавиться от меня и моего семейства, что поспешили дать отзыв, не препятствующий переселению моему в другое место. Насколько предположение это верно, сказать трудно, но в нем не было ничего невероятного.

Не легко мне было расставаться с многочисленными уже орловскими друзьями, так тепло, радушно и даже, можно сказать, самоотверженно сначала приютившими меня и семью, гонимых властями, а затем сделавшимися близкими нам людьми; но, с одной стороны, администрация, если бы мы вздумали остаться, съела бы нас, как говорится, живьем, оставив без куска хлеба, а с другой — жене очень интересно было предложение Курского губернского земства.

Сборы мои были недолги, и после нескольких скромных пирушек, устроенных друзьями, я один уехал из Орла, оставив в нем на время семейство.

Перед Курском вспомнил, каким жалким субъектом девять лет тому назад прибыл я в этот город, как неудачен и тяжел был в нем мой первый дебют. А теперь ехал я, можно сказать, «шишкою». Явившись же на другой день по приезде в управу, я получил сюрприз, от которого у меня, что называется,— «в зобу дыханье сперло». Прежде всего меня не только необыкновенно любезно, но некоторым образом торжественно встретили председатель управы П. А. Полянский и член Н. В. Раевский. Они предложили мне заведывание двумя отделами: статистическим и по народному образованию. И тотчас я узнал причину своей быстрой карьеры. Она выяснилась из прочтенного мною доклада управы экстренному губернскому земскому собранию. Я узнал, что очередное губернское земское собрание поручило губернской управе пригласить для организации статистики лицо по рекомендации таких всероссийских авторитетов, как профессора А. И. Чупров и А. Ф. Фортунатов и знаменитый статистик Н. Ф. Анненский. И все они остановились на мне! Искренно говорю, что и во сне не могло мне сниться ничего подобного. Я читал доклад и глазам своим не верил. Но факт был налицо. Я объяснил его участием в описанном мною все-

8*

российском съезде в 1894 г. естествоиспытателей и врачей и статьями в «Русских Ведомостях» и «Русской Школе». Как бы то ни было, а я сразу был поставлен в высшей степени ответственное положение. Мне приходилось оправдать высокую рекомендацию в научном отношении, чтобы не скомпрометировать рекомендовавших меня. Это с одной стороны. С другой, я занимал пост выдающегося предшественника, ученика отца земской статистики Василия Ивановича Орлова — Ипполита Антоновича Вернера, под руководством которого сделано было прекрасное обследование и описание Курской губернии. Наконец, в-третьих, названный выдающийся труд, по постановлению губернского земского собрания в 1887 г., т.-е. 8 лет тому назад, был... сожжен! Причиной такого средневекового autodafé было негодование крепостнической группы земцев, которые в раскрытии тяжких экономических условий крестьянской жизни усмотрели направленную против них революционную стрелу. Исполнителем этого вандальского постановления являлся тот самый Полянский, который теперь встречал меня, как говорится, с распростертыми объятиями! Мог ли я поверить такой метаморфозе в Полянском? Конечно, нет. И я решил потребовать себе habeas corpus, если можно так выразиться. Я выработал такие условия.

1) Помимо оценочных исследований, должно быть произведено полное подворное обследование по вернеровской программе, что даст возможность составления данных почти за десятилетний период. Это будет бесценный материал с точки зрения характеристики жизни населения и земских мероприятий. 2) Мне должна быть предоставлена carte blanche в выборе и приглашении сотрудников, при чем так называемая «неблагонадежность» не может служить препятствием не только для работ в бюро, но и для экспедиционных исследований. Управа должна твердо отстаивать право земства, в силу которого администрация обязана в течение двух недель дать отзыв о приглашенном. Отсутствие же такого отзыва развязывает управе руки, и она должна предоставить такому лицу место в бюро и право на разъезды.

Председатель сразу стал неузнаваем. Он, как говорится, полез на стену.

— Вы,— начал он, покраснев, повышенным голосом,— заносите меч над управою и земством: правительство, в лице Витте, постановило производить т о л ь к о одни оценочные работы. Вы же требуете о п я т ь подворной переписи, во всем подражая Вернеру, осужденному земством! Это прямо немыслимо!

— Ну, что же делать — на одну оценку я не согласен...

— Что вы этим хотите сказать?

— Разве для вас неясно: я уезжаю обратно в Орел и только...

— Но, Иван Петрович,— заговорил Полянский уже более мягким тоном,— я доложил уже о вас земскому собранию, как вы можете видеть из доклада.

— Да, я читал...

— Ну, вот.

— Так что же? Теперь вы доложите, что я поставил, по-вашему, неисполнимые требования...

— Нет, так невозможно, надо как-нибудь иначе... Ну, вот что: если очередное собрание согласится с вашим взглядом, управа протестовать не будет, а не согласится — вы должны уступить.

— Хорошо, но посодействуйте, чтобы мне предоставлено было право голоса, т.-е. чтобы я лично защищал свою точку зрения.

— По закону, служащим не разрешается участвовать в прениях, но управа употребит все усилия, чтобы вы лично защищали в собрании.

— Согласен.

— Что же касается второго вашего требования, то оно уже абсолютно неисполнимо, если бы даже согласилась управа: не только администрация, но и земское собрание заявляет категорический протест против неблагонадежных.

— Но ведь это же позор России перед культурным миром, в котором давным-давно уже только суд компетентен в определении преступности, а у нас такими авторитетами являются городовые да шпионы!

— Ну, об этом я говорить не буду...

— Почему? Я ведь требую только, чтобы земство твердо отстаивало земское положение, т.-е. основу своего существования, где говорится, что если в течение двух недель администрация не дает никакого отзыва о посланном на его утверждение лице, то тем самым оно его утверждает.

— Но мыслимо ли при таком громадном пространстве, какое занимает Россия, в 2 недели собрать справки?! Представьте, что подало прошение лицо, приехавшее, положим, из Владивостока?

— Да какое до этого дело земству? Законодатель знал, что он делал, а вы желаете быть роялистом более, чем сам король

— Извольте-ка сказать все это губернатору, так он вам пропишет такого «короля»!

— А вам зачем с ним разговаривать? Не утвердил в течение двух недель — и шабаш! Вы принимаете статистика.

— А сам еду, куда Макар телят не гоняет?.. Благодарю.

— Есть на губернатора суд...

— Ха-ха-ха! Попробуйте судиться!

— Хорошего же вы мнения о порядках в государстве Российском!

— Совершенно вы ошибаетесь... Впрочем, оставим этот разговор.

— Но я отказываюсь организовывать бюро без высказанного условия: где я буду выискивать «благонадежных»? через городовых, что ли?

— Неужели земля клином сошлась?

— Да, у нас сошлась... Самый лучший элемент для статистики — это именно поднадзорные или студенты, а администрация, конечно, не будет их утверждать без гарантии земства.

— Не будем спорить: предоставим и этот вопрос на усмотрение земского собрания.

— Хорошо, но много пропадет времени, и я не знаю, что делать без статистиков.

И губернская управа решила не ожидать собрания. Кажется, на другой день после приведенного разговора мне за подписью милейшего глухого члена управы, воспитанника Петровской академии, Арнольди, поступило два нижеследующих извещения от 18 сентября 1895 г. Первое заседание управы гласило:

«Д о л о ж е н о: Для организации, согласно постановлению экстренного губернского земского собрания 21 мая с. г., оценочно-статистического бюро губернская управа пригласила заведывать оценочными работами бывшего статистика Орловского губернского земства Ивана Петровича Белоконского.

Г. Белоконский обусловил свое согласие занять предлагаемое место в том только случае, если ему удастся подыскать себе опытных помощников, для чего он полагает необходимым съездить в Москву для личных переговоров и выбора помощников, а также для совета с известными специалистами по земской статистике: проф. Чупровым, гг. Каблуковым и Григорьевым.

О п р е д е л е н о: Признавая возможным принять предложенное г. Белоконским условие, губернская управа полагает командировать его для означенной надобности в Москву».

Другое извещение от того же числа за № 13992 адресовано было мне, и в нем говорилось:

«Согласно постановлению от 18 сентября с. г. № 15, губернская управа предлагает вам, милостивый государь, отправиться сего числа в г. Москву для приискания служащих в организуемом при губернской управе оценочно-статистическом бюро».

Выяснилось, что большинство управы — на моей стороне. Но я решил отложить приглашение сотрудников до земского собрания, опасаясь, что последнее может разбить все мои планы.

Я усиленно занялся изучением всех материалов, касающихся Курской губернии, и особенно статистических трудов, чтобы во всеоружии выступить перед земским собранием с докладом, отстаивающим выше сообщенные мои требования. Должен признаться, что я сильно волновался. Мне не приходилось выступать перед земством в активно-ответственной роли. Каков состав собрания? Как оно отнесется ко мне? В числе членов его было не мало лиц, выкопавших могилу «Итогам» Н. А. Вернера. Правда, меня видимо поддерживала управа в лице Раевского, Арнольди, Мантейфеля и Загорского. Затем я знал, что горою будут отстаивать мой доклад кн. П. Д. Долгоруков и В. Е. Якушкин. Но и их казалось мне недостаточно для прочной защиты.

В течение всей осени управа лихорадочно работала, чтобы не ударить лицом в грязь перед собранием. Служащие, особенно бухгалтерия, засиживались далеко за урочное время. Члены управы и председатель сильно нервничали. Между тем, мало-помалу начали съезжаться члены ревизионной комиссии во главе с аккуратнейшим ее председателем В. Е. Якушкиным, не только не пропускавшим никаких земских собраний, но ни единого заседания, являясь всегда ранее всех. Культурность его, необыкновенная любезность, предупредительность, корректность не исключали чрезвычайно строгой ревизии, которой все боялись. За комиссией один за другим собирались губернские гласные. Когда прибыл кн. П. Д. Долгоруков, он, дружески встретившись со мной, тотчас же познакомил меня со всею «оппозицией». Из этой последней наибольшей оригинальностью отличался инженер Н. А. фон-Рутцен.

Наконец, пришел день открытия очередного губернского земского собрания. Явился председатель его, губернский предводитель дворянства, Дурново, и совершенно поразил меня своим исключительным, феноменальным безобразием. Высокий, как

колодезный шест, худой, как мумия, сутуловатый, с резкими, какими-то лошадиными чертами лица, большими воспаленными глазами и необыкновенных размеров, приближавшихся к ослиным, глухими ушами, он мог свободно конкурировать с Квазимодо. Заметив мое изумление, один врач на ухо сообщил мне не то легенду, не то факт: заехал как-то в Курск английский путешественник; описывая затем свою поездку, англичанин назвал Курск замечательным тем, что в нем губернский предводитель дворянства и городской голова носят.. маски!

— Маски? Я не понимаю...

— Путешественник не мог допустить, чтобы в природе существовали подобные человеческие лица...

— А-а!.. Разве городской голова тоже красив...

— Лошади при виде его шарахаются в сторону, но сравнительно с его превосходительством камергером высочайшего двора городской голова, пожалуй, более уподобляется человеку.

После молебна предводитель открыл собрание. Служащие, а в том числе и я, сидели сзади, за управою. Председатель ее беспрестанно шушукался с Дурново, и последний время от времени косился на меня. Спустя немного к Полянскому подошел кн. Долгоруков. Проходя обратно на свое место, он шепнул мне: «Полянскому, кажется, удается уговорить Дурново дать вам слово во время прений по докладу о статистике».

Наконец, настал этот тяжкий для меня день. Я волновался. В Орле статистика, в глазах собрания, была заразное отделение. Правда, под конец своего служения там я стал в близкое отношение с управою, но из гласных большинство более чем подозрительно относилось к бюро, особенно после провала «Народного Права», когда выяснилось, что громадный процент статистиков не только состояли членами этой партии, но были во главе ее.

К слову сказать, в Курске из жандармских сфер получены были подробные сведения об этой орловской статистической катастрофе. Весьма возможно, что местная явная и тайная полиция запугивала земство Орлом.

Но вероятно влияние „оппозиции" было настолько велико, что в конце-концов Дурново все же буркнул после прочтения доклада управы: —Слово предоставляется заведующему статистическим отделением.

Событие это было столь выходящее из рамок обыденности, что все гласные спешно заняли свои места, устремив на меня взоры, а на хорах, где был весь неблагонадежный элемент, установилась немая тишина.

Я взял нервы в руки и произнес речь, не чувствуя, как говорится, себя. Сначала говорил робко, а затем все более и более увлекался.

Тема моей речи была та, что правительство, в лице Витте, заводя одну оценочную статистику, желает взять последнюю в свои руки. Одной оценки земли без исследования условий жизни населения совершенно недостаточно для земства, потому что лишь труд людей дает земле ценность. Поэтому, на мой взгляд, при производстве оценочных исследований совершенно необходима и подворная перепись, по програме предшествовавшего исследования. Однообразие програм даст возможность точного сопоставления, а следовательно и ясного вывода,— прогресс, регресс или устойчивое постоянство замечается за этот восьмилетний период в народной жизни. Полагаю, что для всех понятна важность такого сравнения. Нужно ли говорить, что серьезное изучение губернии требует серьезных, образованных и развитых работников. Таковых можно разыскать только в высшей школе. Но администрация наложила клеймо неблагонадежности на всю учащуюся молодежь. Земство должно защищать последнюю и добиться для нее права на свободные местные экспедиционные работы.

Я сел при мертвой тишине. Подходит ко мне спустившийся с хор бывший поднадзорный присяжный поверенный, А. А. Апшельсон, жмет мне руку и поздравляет с «несомненным успехом».

— Посмотрим,— тихо отвечаю я...

— Нет, нет, это несомненно.

— Кто желает высказаться по поводу сказанного заведующим? Как относится управа?

— Управа,— отвечает поднявшись Полянский,— ждет решения собрания...

— Я присоединяюсь к сказанному И. П. Белоконским,— говорит В. Е. Якушкин,— и рекомендовал бы прямо приступить к баллотировке: 1) Производить ли подворное исследование? 2) Приглашать ли студентов для местных исследований и настаивать ли пред администрацией об их утверждении?

— Кто возражает против такой постановки вопросов?— спросил Дурново.

Все молчали.

— В таком случае я баллотирую: кто за постановку, высказанную В. Е. Якушкиным,— сидят; кто против — встают.

Все сидели.

Я чувствовал себя победителем.

В «Русских Ведомостях» была помещена телеграмма, в которой говорилось, что очередное курское губернское земское собрание учредило статистическое бюро и отдел по народному образованию, предложив Белоконскому заведывать тем и другим.

Эта телеграмма вызвала ряд прошений от студентов Московского университета, удаленных за неблагонадежность: Лосицкого, Блинова, Авилова, Руднева. Кроме того, поданы были прошения от окончившего Петербургский университет Звягинцева и Харьковский — Попова. Все они были приняты мною и, как следовало ожидать, оказались людьми высокообразованными и работоспособными. Наконец, занял место у меня орловский статистик, о котором я выше умолчал, привлеченный к делу «Народного Права» — Башмачников.

Не надо было быть пророком, чтобы заранее предсказать, что такого рода прошедшее приглашенных мною статистиков сулило более чем печальную судьбу курской статистике.

Но об этом позже, а сейчас сообщу еще некоторые факты из 1895 года, чтобы покончить с последним.

В области народного образования много для Курской губернии сделала и Л. Н. фон-Рутцен, сестра гласного Курского губернского земства, о котором мы выше говорили.

Кстати сказать, она оказала большую нам поддержку, согласившись сделаться редактором «Курской Газеты».

В мае 1895 г. я от А. И. Чупрова получил извещение такого содержания:

«Избранная Комитетом грамотности императорского Московского общества сельского хозяйства комиссия по вопросу о всеобщем обучении, зная ваше особенное сочувствие к вопросам народного просвещения, определила препроводить к вам экземпляр составленной ею записки и просить вас не отказать сообщить ей ваше мнение по столь важному для нашего отечества вопросу, а также и замечания ваши на указываемую в записке постановку работ комиссии».

Вслед за этим председатель II Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию Мих. Вас. Духовской прислал мне такое предложение:

«В декабре текущего 1895 г. в Москве имеет быть созван II Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, на долю которого естественно выпала роль продолжить работу I Съезда, бывшего в С.-Петербурге в 1889 г.

IX секция по общим вопросам, относящимся к техническому и профессиональному образованию, полагает, что, в виду важности выдвигаемых ею вопросов, из которых многие недостаточно

выяснены или же еще не были подняты на I Съезде, было бы крайне желательно по каждому из них иметь если не реферат, то хотя бы краткое сообщение. Поэтому секция уполномочила меня убедительно просить вас пожаловать на съезд, или прислать доклад по своей специальности».

В октябре 1895 года от большого приятеля В. Г. Короленко, Василия Николаевича Григорьева, я получил письмо, в котором он главным образом говорил об А. И. Чупрове и писал: «Вы, конечно, многоуважаемый Иван Петрович, пожелаете присоединить и свою телеграмму к предполагаемому здесь приветствию А. И. Чупрова с 25-летием его научной деятельности».

Пользуясь случаем, не могу не сказать нескольких слов о Григорьеве. Окончив инженерное училище, он некоторое время был саперным офицером. Но военная карьера не удовлетворяла В. Н., и он, выйдя в отставку, поступил в Петровскую академию, где учился и В. Г. Короленко. Однако русские условия не дали ему возможности окончить это учебное заведение: Григорьев административным порядком сослан был в Олонецкую губернию. По окончании ссылки В. Н. пошел по тому же пути, по которому шел подавляющий процент ссыльных: он сделался земским статистиком, получив место заведующего рязанским губернским земским статистическим бюро. Григорьев здесь проявил организаторские способности и статистический талант. Из Рязани Григорьев перевелся в Москву и сделался заведующим статистическим отделением Московской городской управы. Одновременно он сотрудничал в «Русских Ведомостях».

Наконец 1895 г. увенчался для меня чисто гоголевским фактом, доказывающим, что Российская империя недалеко ушла от времен Николая Васильевича Гоголя.

Вот этот отечественный перл.

В конце 1895 года выяснилось, что после 15 лет жизни с женою моею Валерией Николаевной брак наш оказался... незаконным! Этот курьез обнаружился таким образом. Для совершения одного официального акта суд потребовал от меня свидетельства о браке. Я обратился к Енисейской духовной консистории, и она прислала мне брачное свидетельство.

Я немедленно представил этот документ в суд.

Через некоторое время от последнего получаю повестку, явиться. Являюсь. Меня направляют к одному из членов суда который, возвращая мне свидетельство, сухо и отрывочно поясняет:

— Просьба ваша оставлена без последствий, потому что ваш брак незаконен.

— Незаконен? — восклицаю я, удивленный всем своим существом.

— Да, да, совершенно незаконен.

— Позвольте, но свидетельство...

— Из него-то и явствует, что вы обвенчаны с госпожею Левандовской совершенно незаконно...

— Почему?!

— Неизвестно ваше звание: в свидетельстве, вот, прописано: «июня двадцать девятого венчаны состоящий под надзором полиции административно сосланный» вы — и «административно сосланная» Левандовская». Что же это за звание? Какое сословие? Да вы оба, быть-может, лишены были всех прав состояния? Какое же право имел священник венчать вас?

— Но он, вероятно, справлялся же у администрации, у которой хранились решительно все наши документы?

— Нет, нет, — вы должны документально установить ваше и Левандовской звание...

— На это потребуются годы, потому что все наши бумаги, все документы целиком погибли во время пожара в Красноярске в 1882 г.

— Суду до этого нет дела: вы должны официально доказать, когда был пожар и какие именно документы там погибли, а до тех пор присланное вами свидетельство является лишь доказательством незаконности вашего брака и преступности священника...

— Но я венчался с разрешения генерал-губернатора Восточной Сибири. Что же, вы и его предадите суду?

— Дело идет лишь о вас, и больше ничего сказать вам я не могу.

Так я ничего и не добился, продолжая состоять 30 лет «в незаконном браке».

Чтобы, по возможности, не отступать от хронологического порядка, скажу здесь, что почти одновременно с назначением меня заведующим курским губернским земским статистическим бюро А. В. Пешехонов приглашен был на такое же место в г. Калугу, при чем у меня с ним сразу восстановились дружеские отношения, какие были и в Орле. Из этого города в Курске я получил первое письмо, в котором, между прочим, он писал: «Исследован только один уезд, работы хватит maximum на два месяца. Приглашать временных работников издалека поэтому не прихо-

дится: расходы их на дорогу были бы несоразмерно велики по сравнению с заработком.

В Калуге нет корреспондента «Русских Ведомостей», и потому там нет почти заявлений от желающих.

Орел, 21 февр. 96 г. А. Пешехонов.

Здесь я пробуду до 27—28, а потому, если успеете, адресуйте сюда, а потом в Калугу.

В Рязани тоже ищут заведующего. Условия, кажется, хорошие. В последней земцы пока очень несговорчивы, хотя о статистике представления имеют самые смутные».

Через неделю Пешехонов писал мне из того же Орла:

«Сердечное спасибо вам за сердечный ответ. Я также льщу себя надеждой, что между Курском и Калугой установятся хорошие, сердечные отношения, и то и другое бюро дружно поработают над решением коренных вопросов нашей народнохозяйственной жизни.

Мой отъезд в Калугу несколько замедлился, так как председатель уехал в Москву и Питер, а приезжать мне туда без него нечего. Здесь же бюро я уже оставил и проживаю на положении вольного человека. Мой адрес во всяком случае теперь уже — Калуга. В утверждении, конечно, сильно сомневаюсь, но пока еще ничего не известно. Даже запроса пока еще нет, так что этот вопрос решится уже там».

Наконец, уже из Калуги Пешехонов сделал мне такой злободневный земско-статистический запрос:

«Будьте добры написать, пожалуйста, как вы поступаете или будете поступать при приглашении временных сотрудников в виду циркуляра о том, чтобы относительно студентов испрашивалась рекомендация их учебного начальства? Будете ли вы сами сноситься по этому вопросу и с кем именно, или такую рекомендацию будут добывать сами сотрудники?»

Я ответил, что действовал на ура — без всяких «рекомендаций». За это мне, как ниже будет сказано, здорово влетело от властей, но иначе и быть не могло.

Экспедиционные работы в Фатежском уезде, с которого начато было повторное обследование Курской губернии подтвердило прочно установившееся у меня мнение после изучения Орловской губернии о колоссальном невежестве деревни, изображавшей из себя какой-то «киммерийский мрак». Тяжко было это подтверждение, но оно... удовлетворяло меня...

Дело в том, что мои «Деревенские впечатления» из поездок по Орловской губернии печатались в «Русских Ведомостях» и почти после каждого рассказа вызывали нарекания со стороны оптимистов-народников. Они утверждали, что «теперь деревня уже не та», что я не подмечаю ее «духовного роста», что мой пессимизм — «тенденциозен». Хотя укоры эти шли не со страниц газет и журналов, но мне всегда после них делалось стыдно, что ли: «Значит,— говорил я сам себе,— я лишен наблюдательности и пишу то, чего нет в действительности». И опять спешил я в деревню, чтобы поставить самый серьезный, самый объективный диагноз. Увы,— ничего нового не наблюдалось! Но лишь только результаты нового тщательного изучения появлялись в «Русских Ведомостях», мне присылались укоризненные письма. И вот решил я в новой губернии применить все способы самого тщательного изучения, задумал «вложить персты в раны народа»: беседовал со старыми и малыми, с мужиками, бабами, детьми и девицами, жил в курных избах, опросил не одну тысячу народа и... ничего нового не узнал! Вот чем был я удовлетворен: значит, мои деревенские впечатления совершенно отвечают действительности...

Деревенский мрак я и теперь объяснял тем, чем и прежде в течение всех лет моей сознательной деятельности, как до ссылки, в качестве сельского учителя, так и после ссылки, в качестве статистика,— гнетущим строем абсолютизма. Мне думалось, что если бы земство завоевало широкие политические права, если бы оно явилось фундаментом если не для республиканского строя, то хотя бы для парламентаризма с ответственным министерством, со всеми свободами, то это была бы уже брешь для плодотворной работы в народной среде. Вот почему, когда я заметил движение в земской сфере, энергичное стремление к ограничению самодержавия, к борьбе с произволом и беззаконием, я обеими руками ухватился за это дело, став в ряды оппозиционной земской интеллигенции не только «третьего элемента», но и второго, составлявшего арьергард в движении. С этого момента все у меня отошло на задний план. В статистическом бюро я исполнял лишь добросовестно свои обязанности, но души, как говорится, не вкладывал.

С первой половины 1896 г. земцы стали готовиться к использованию коронации Николая II. Об этом подробно говорится во 2-м издании книги моей «Земское движение», а потому повторяться не буду. Здесь скажу лишь, что 14 мая 1896 г., в день коронации, в Москве, на Ходынском поле, произошла кошмарная катастрофа, с места в карьер подчеркнувшая, с одной стороны,

полную гнилость власти, не сумевшей, как следует, даже соорудить необходимые для праздника самые примитивные постройки и привести Ходынское поле в культурный вид; с другой — ужасающее невежество даже столичной толпы. Власти не нашли ничего лучшего, как раздавать в столь торжественный день бесплатно какие-то дешевые кружки и жетоны! Падкая к бесплатным подаркам толпа в несколько сот тысяч человек с малыми и старыми устремилась на Ходынское поле; под нею быстро рухнули помосты, увлекши на землю не одну тысячу народа; на упавших продолжали наступать новые толпы, теснимые за ними идущими, и также падать и давить павших. Воздух оглашался нечеловеческими криками, воплями, стонами, но ничего нельзя было поделать. В результате тысячи изуродованных, замученных трупов!.. Не только вся Европа, Америка, но даже ко всему привычная Россия ахнула от этого события. В народе стали ходить разного рода слухи. Между прочим говорили, что «ходынка» является предсказанием несчастий, которые будут сопровождать все царствование Николая II.

Во время коронационных торжеств председатель Московской губернской земской управы, Д. Н. Шипов, пользовавшийся необыкновенною популярностью в земских сферах, предложил устраивать ежегодные съезды для совместного обсуждения важных земских вопросов. Это предложение было встречено весьма сочувственно, и было постановлено устроить такой съезд в этом же, 1896 году на Нижегородской выставке.

Выставку эту устроил С. Ю. Витте, чтобы блеснуть перед Европой и, еще важнее, чтобы закрепить свое положение министра финансов.

Как я выше сказал, земцы решили использовать эту выставку для съезда. Благодаря кн. П. Долгорукову и В. Е. Якушкину, и я был командирован туда.

Меня в Нижний тянуло по многим причинам. Из них первая была та, что, благодаря пребыванию в этом городе близких мне людей и писателей: Вл. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевского и Н. Ф. Анненского, здесь образовался, можно сказать, всероссийский культурный центр, в который направлялось нечто в роде паломничества. Главным притягательным магнитом для всех был, конечно, В. Г. Короленко, слава которого, как обаятельного художника, крупного публициста и чарующего гуманиста, уже гремела на всю Россию. Большими симпатиями пользовался и писательский талант доктора С. Я. Елпатьевского. Что же касается Н. Ф. Анненского, то, помимо известности его как талантливого журналиста, он славился, как знаменитый ста-

тистик, и лично я, если бы даже не было выставки, непременно поехал бы в Нижний, чтобы посоветоваться с Н. Ф. по поводу предстоящего мне редактирования сборника по Фатежскому уезду.

К сожалению, Короленко в декабре 1895 г. был вызван в Петербург «Русским Богатством», но семья его еще проживала в Нижнем. На Мултанское дело он приезжал в 1896 году уже из Финляндии, куда ездила и семья. Таким образом статистикам приходилось быть лишь в обществе Н. Ф. Анненского. И он сделал для нас пребывание в Нижнем самым полезным и самым веселым праздником. Высокообразованный (он окончил два факультета), с широким кругозором, богатый жизненным опытом, веселый, жизнерадостный, необыкновенно остроумный, я бы сказал, во французском духе, в то же время приветливый и доброжелательный, он очаровывал каждого, кто приходил с ним в соприкосновение. Анненскому в это время было уже 53 года, но он мог за пояс заткнуть любого молодого человека. Почти каждый вечер после осмотра выставки я и жена шли к Анненским, всегда заставали у них веселое общество из молодых и пожилых статистиков обоего пола и шли гулять на Оку, где Николай Федорович был, по обыкновению, душою общества.

Что касается выставки, то я тщательно изучал ее и как статистик, и как писатель. По народному образованию я собрал весь более или менее существенный материал. О выставке я писал в «Русские Ведомости» и, специально по народному образованию,— в «Русскую Школу». К слову сказать,— Витте, отлично зная цену прессы, устроил для нее на выставке особое бюро. Но выбор главы последнего был крайне неудачен... Именно им являлся Амфитеатров, душа, можно сказать, такого флюгера, как «Новое Время». И уже это одно обстоятельство оттолкнуло от бюро всех более или менее видных писателей. Кроме того, Амфитеатров держал себя по отношению к литераторам, как генерал. Словом, с литературой Витте потерпел неудачу, положившись на популярность «Нового Времени» в правительственных сферах. Конечно, газета эта воскуряла фимиам выставке, хотя последняя России, как таковой, вовсе не представляла. Это был сбор уников: необыкновенных размеров упитанные лошади, быки, коровы, свиньи, овцы; блестевший новенький сельскохозяйственный инвентарь с экземплярами большею частью последнего слова науки; такие же фабрично-заводские машины; роскошная мебель и т. д. и т. п. Все это были показатели микроскопической части отечества: помещиков и капи-

талистов. А если бы была добросовестно организована действительно «всероссийская выставка», то она бы поразила иностранца своею ужасающею нищетою. Если бы вместо редчайших у нас першеронов привезти на выставку родных кляч, а вместо племенного рогатого скота доставить нашу «тосканскую» породу, да ко всему этому телеги без кусочка железа, да сохи времен сарматов и скифов, тогда бы иностранец хотя и ужаснулся, но знал бы доподлинно, что за страна Россия. А та выставка, которую ему представили, был один обман, как все у нас было обманно, скрыто и чревато поэтому катастрофическим будущим.

Но для земцев она была довольно удачна по началу и удивительна по последствиям. Д. Н. Шипов, со свойственной ему прямотою и искренностью, сообщил о проектируемом земском съезде выжившему из ума старцу, министру внутренних дел Горемыкину. Опасливый старец не решился дать официальное разрешение, но в частной беседе рекомендовал: 1) ограничиться только председателями губернских земских управ, 2) собираться не в помещении Нижегородской земской управы, а на частных квартирах и 3) принять меры, чтобы печать об этом не была осведомлена. Таким образом, казалось бы, нижегородский съезд был совершенно легальный, тем более, что на нем присутствовал даже представитель министерства финансов, присланный самим Витте. Но произошло нечто изумительное, возможное только в России. Нижегородский съезд происходил с 8 по 11 августа 1896 г., а через три с половиною месяца, 25 ноября, Шипов, побывавший уже в Петербурге, где Горемыкин мог видеться с ним, получил вдруг от Булыгина «конфиденциальное» письмо, в котором говорилось, что «по дошедшим до него», министра, «сведениям» (ведь он же знал о съезде!) на частном совещании в Нижнем земцы решили устраивать периодические съезды. Так вот Горемыкин находит, что «никакие съезды, и тем более должностных лиц, не могут иметь места»... Дальше, кажется, по пути глупости и подлости итти было некуда, но лица, которые познакомились с моим «Земским движением», знают, что правительство пошло и дальше, покуда не добилось до революции... Оно, за исключением, быть-может, Витте, состояло сплошь из каких-то идиотов в реакционных шорах. Это правительство знать ни о чем не хотело, кроме укрепления абсолютизма, ничего не видело и не слышало. Тогда земство, что называется, плюнуло на правительство, и более видные деятели из него решили пробивать путь к гибели самодержавия в соединении с другими деятелями, стремившимися к той же цели, и главным образом со своим «третьим элементом».

Между тем, я, немного приободренный нижегородскими впечатлениями и, кроме того, продолжительными совещаниями по поводу предстоявшего мне редактирования «сборника по Фатежскому уезду» с Н. Ф. Анненским, энергично принялся за работу, зорко следя в то же время за земским движением, с каковою целью завел переписку с видными земцами. Конечно, я не отставал и от литературы. Между прочим, в августе 1896 г., скоро после возвращения с выставки, получил такое сообщение от Московского о-ва сельского хозяйства:

«Почетному члену Общества А. Ф. Фортунатову было угодно любезно принять на себя содействие по изданию нового сельскохозяйственного журнала, имеющего издаваться при Обществе с 1 октября сего года.

А. Ф. Фортунатов сообщил комиссии, издающей журнал, что по вопросам сельскохозяйственной статистики и в частности крестьянского хозяйства вы могли бы оказать журналу ваше ценное содействие присылкой ваших трудов.

От имени президента Общества, князя А. Г. Щербатова, состоящего и председателем комиссии по изданию журнала, имею честь обратиться к вам с покорнейшею просьбою не отказать в вашем участии в качестве сотрудника журнала и в случае согласия вашего уведомить меня об этом».

1897 г. начался для меня получением нижеследующего письма от А. И. Чупрова:

Высокоуважаемый Иван Петрович.

Прежде всего поздравляю вас с новым годом и от всей души желаю вам доброго здоровья, бодрых сил и неизменного успеха во всех делах и начинаниях.

Очень мне горько, что вы не застали меня; но что было мне сделать? Вы оставили мне карточку, а не написали адреса. Я охотно приехал бы к вам, но куда было ехать? Вы говорите, что меня застать нельзя; но это едва ли так. У меня есть определенные дни и часы, в которые меня непременно можно застать; это вторник и пятница от 4 до 7 и даже до 8 часов.

Глубоко признателен вам за прекрасную книгу [1]. Я еще мало посмотрел ее, но и из того, что видел, усматриваю, как интересен и благотворен ваш труд. С удовольствием его просмотрю со вниманием и сообщу свои наблюдения.

С истинным почтением

А. Чупров.

---

[1] О какой книге идет речь,— не могу вспомнить.

Начало же 1897 г., именно 28 января, ознаменовалось осуществлением первой за время существования России всероссийской однодневной переписи. Она еще раз подчеркнула самовлюбленность, невероятное самомнение и ненависть к местному самоуправлению со стороны правительства. Напрасно земства, в том числе, конечно, и Курское, указывали и доказывали безусловную необходимость участия в переписи земских деятелей и особенно статистических бюро с их опытными работниками. Эти ходатайства совершенно не были удовлетворены, и ни единая живая земская душа не соприкасалась с работою. Во главе переписки был поставлен бывший свирепый губернатор Тройницкий, не понимавший ни уха ни рыла в статистике и принадлежавший к типу того бюрократа, который в царствование Николая I определил свое послушание властям такою фразою: «Прикажут — буду акушеркою». Тройницкому приказали — и он из губернаторов «обернулся», как говорят в народе, в статистика, сделав из переписи абсолютную государственную тайну, ибо чувствовал несомненно, что она не даст желаемых результатов. Между прочим я вошел в губернскую управу с докладною запискою, чтобы копии с переписей по уездам оставлялись уездным земским управам. На это получился краткий категорический отказ. Забегая вперед, скажу, что по этой «переписи», руководимой земскими начальниками и полицией, потребовалось 150.000 работников, долженствовавших в самый короткий срок получить и проверить или написать под диктовку 30.000.000 бюллетеней.

Затем под руководством того же Тройницкого началась разработка переписи, закончившаяся через... восемь лет, когда, собственно говоря, надо было бы произвести новую перепись! Так, в Англии однодневная перепись бывает (в весеннее время) через каждые десять лет, во Франции, начиная с 1881 г. — через каждые пять лет и также весною, в Германии начиная с 1875 г. — тоже через пять лет, в Австрии через десять лет, через такой же период в С.-А. Соед. Шт. производятся «цензы». А Тройницкий на обработку употребил восемь лет! Отпечатал он этот труд, а затем стали проверять. 831.054 души не досчитались: по первому подсчету насчитали они 126.411.736 жителей, а по второму 125.680.682 человека. Правда, ошибка не велика, если верить проверке, но результаты в двух изданиях не одинаковы и по мелким административным единицам довольно значительны. И вот один статистик работает где-нибудь по одному изданию или энциклопедическому словарю «Брокгауза и Ефрона» том XXVII, а другой — по другому изданию или тому же сло-

варю, но «дополнительный том II». И цифры получатся неодинаковые. Но, повторяем, если верна проверка,— ибо в общем перепись 1897 г. доверия не внушала, и, значит, быть-может, результаты еще более печальны. Затрачено на перепись из государственных средств на одно первое трехлетие 3.916.682 руб., или расходовалось по 1.305.561 руб. в год, а в восемь лет потребовалось, значит, 10.444.488 руб. Сумма немалая, если принять во внимание сомнительность результатов. Конечно, земцы, особенно наш брат «третий элемент», а в том числе и я, грешный человек, не преминули в прессе так или иначе указать обществу на бюрократические работы и расходы, поясняя, что все произошло от недоверия к земскому и городскому самоуправлениям.

В то время, когда я бил тревогу из-за переписи, напечатав ряд статей с полной фамилией и корреспонденции, в управе мне намекнули, что статистическим бюро «почему-то интересуются жандармы». Я не удивился этому, ибо знал взгляд властей на меня, и, предупредив товарищей, был спокоен, так как у нас ничего запрещенного не было.

В слухах о чем-то предстоящем прошло достаточно времени, так что я перестал придавать им значение.

Как вдруг в одно раннее утро прибегает ко мне запыхавшийся сторож и испуганно шепчет:

— Вас, Иван Петрович, немедленно требуют в управу... Там уже председатель и члены...

— Да что такое произошло? Какая муха их укусила?

— Да там,— пояснил он еще тише,— жандармы.

— А-а! Вот когда посетили...

— Они, дьяволы, давно прицеливаются...

— Беспокоили вас?

— У-у! не дай бог!.. Я только боялся говорить: грозили, анафемы...

Спешно иду в управу. Вхожу в бюро.

— Вы заведующий?—встречает жандармский офицер.

— Я.

— Вот предписано произвести обыск.

— Вижу.

— Мы уже окончили и оставляем вас в покое до пересмотра забранного.

Но это была ложь. Скоро после обыска в бюро позднею ночью ко мне нагрянули голубые воины и, не предъявив никаких мандатов, произвели обыск, закончившийся арестом не меня, у которого ничего не нашли, а моей жены, у которой нашли прекрасно исполненную фотографию Александра III

верхом на свинье. Привез ее из Харькова статистик Т. И. Попов и принес, чтобы только показать. Затем, вероятно, забыл. Жена положила фотографию в один из столовых ящиков и тоже забыла. Поэтому находка этой вещи была для нас совершенно неожиданна. Жандармы, собиравшиеся уже уходить, пришли в восторг, найдя случайно в последний момент такой компрометирующий документ. Напрасно указывали мы, что фотография валялась в незакрытом ящике, что она покрыта пылью, доказывающею, что никому она не давалась,—жандармы знать ничего не хотели и требовали от Валерии Николаевны, чтобы она сообщила, кто ей дал фотографию. Она, понятно, с негодованием ответила, что ее оскорбляет такого рода требование.

— В таком случае мы вас арестуем.

— Сделайте одолжение, — отвечала жена, — не привыкать-стать!

Но тут произошел курьез, заставивший нас улыбаться, не взирая на тяжелые результаты обыска. Когда жандармы стали составлять протокол, то поставлены были в совершенно безвыходное положение, — как назвать найденное. Фотография? Но это значило бы, что, действительно, царь где-то восседал на свинье, и, следовательно, она, фотография, не преступна. Карикатура? Но разве можно царя изображать в карикатурном виде? Картина? То же самое, что и фотография. Думали-думали и остановились на неясном и неопределенном выражении: найден возмутительный материал, или что-то в этом роде. Жену арестовали, через 12 лет после последнего ареста в Минусинске.

— Ну, прощай, мой милый друг, — сказала Валерия Николаевна, — опять, быть-может, придется возвратиться назад в Сибирь.

— Во всяком случае только до свидания: если тебе придется ехать, то и я там буду.

И мы расстались. На следующий день я добился иметь свидание и стал посещать жену в разрешенные дни самым исправным образом, доставляя книги и провизию. Навещали ее и сестры.

Но,—увы,—на моих плечах было уже 40 лет; к этому возрасту приближалась и жена. Понятно, что теперь наше настроение было далеко не то, какое было 15 лет тому назад, когда мы шли в ссылку в Сибирь, кочуя из тюрьмы в тюрьму, из этапа на этап. Более того, самочувствие было даже хуже того, когда меня арестовали в Орле, 6 лет тому назад. Но, стиснув зубы, мы молодились и утешали друг друга.

В марте 1897 г. меня вызвали в Курское жандармское управление для присутствия при осмотре отобранных у меня бумаг.

— Пора бы вам уже успокоиться, г. Белоконский,— дал мне совет юный жандармский офицер, вручив все отобранное у меня, среди которого ничего не было найдено.

— Лично я никогда и не беспокоился, а вы, жандармы, меня тревожили.

— И не напрасно, судя по тому, что вы были в ссылке.

— Совершенно напрасно: против меня не было выставлено ни одного обвинения.

— Так чем же вы объясняете все-таки вашу ссылку?

— Тем, что вам в большинстве делать нечего, и вы или выдумываете «дела», или раздуваете их, делая из мухи слона.

Офицер возмутился:

— Я прошу вас... Я составлю протокол, если вы еще скажете что-либо подобное... Это возмутительно.

Я взял бумаги и ушел. Привычное чувство досады опять охватило мысль. Ну, чего я ходил? Отдал все, что забрали. А между тем тревожили меня в глубокую полночь... Арестовали жену и держат ее за чепуху. Жандармы прекрасно сознавали, что фотография «валялась», не утилизировалась... Они требовали, чтобы Валерия Николаевна «созналась», кто дал, т.-е. добивались сделать жену предательницею.

Вскоре после посещения жандармского управления я получил из С.-Петербурга такое извещение:

Комитет Союза взаимопомощи русских писателей имеет честь уведомить вас, милостивый государь, что в последнем общем собрании Союза вы избраны членом его. Одновременно с сим препровождается вам устав Союза. Членские взносы принимаются в помещении Союза (Владимирский пр., 21) по пятницам, от 8 до 10 часов вечера. Иногородные благоволят адресовать на имя председателя комитета по адресу Союза.

Председатель П. Н. Исаков.
Секретарь Л. Е. Оболенский.

Мне было чрезвычайно приятно сделаться членом этого чисто писательского учреждения, о котором ниже я буду говорить особо. Оно вводило меня в широкое общение с писателями что представляло выдающийся интерес и делало Петербург, можно сказать, «своим» городом. Я с удовольствием думал уже о поездке в столицу на Рождество, как вдруг в августе там наметился чисто статистический праздник; от знаменитого Экономического общества мне прислано было приглашение.

Однако в мою задачу не входит описание съезда.

1898 г. начался для меня и жены отрадным событием. Близкий нам обоим человек, товарищ по ссылке, о котором я много говорил в I части моих воспоминаний и здесь выше говорил, известный русский философ В. В. Лесевич, написал, что желал бы повидаться с нами, с каковою целью думает прихватить и Курск в задуманной им лекционной экскурсии. Если мое желание идет навстречу его, то я должен постараться устроить лекции в Курске. Я, конечно, употребил все усилия для осуществления этого, но, по правде сказать, сильно боялся, что тема до того суха, а философия настолько чужда русской публике, что вряд ли соберу слушателей, а если и соберу, то все разбегутся. Но все же рискнули, надеясь на помощь «Курской Газеты». Первые шаги были весьма удачны: только-что были расклеены афиши, что В. В. Лесевич прочтет лекцию о философии Авенариуса, как в назначенных пунктах, к моему удивлению, довольно успешно стали продаваться билеты. Я немедленно телеграфировал об этом Лесевичу, назначив день приезда. Точный, аккуратный и исполнительный Владимир Викторович явился сутками раньше и остановился не у меня, как я ожидал, а в гостинице. На другой день он заявился к нам и объяснил свое поведение тем, что пред чтением лекции должен быть совершенно изолированным. Обедать он будет у нас, остальное же время — в уединении в гостинице. Свидание наше было весьма радостное. Я был у него в Петербурге, а жена не виделась ровно 15 лет. Все время прошло в воспоминаниях. И удивительно: ссылка сравнительно с современною Россиею представлялась нам в самом розовом свете! С свойственным Владимиру Викторовичу остроумием, он давал такую характеристику состояния отечества, что нельзя было не смеяться, хотя и «горьким смехом». Наконец, наступил день лекции. Я знал Лесевича, как умного человека, как прекрасного собеседника, как обладателя едкого пера в полемике, но как лектора не знал. Поэтому в назначенный вечер шли мы в общественный клуб с большим смущением. Публики набрался полный зал. Появление лектора встречено было громом рукоплесканий. Он раскланялся, сел и вынул тетрадку.

— Боже! — тревожно шепнула Валерия Николаевна, — будет читать сидя, по тетрадке! Я готова провалиться... Тобою будут недовольны...

Но вот лектор начал читать. Он только время от времени засматривал в тетрадку, быстро перелистывая. Получалось впечатление словесного чтения. И чем дальше, тем лучше и

лучше читал лектор. Никому не известный Авенариус, художественно описанный, сильно заинтересовал публику, слушавшую лекцию с редким вниманием. После первой части зал огласился громом рукоплесканий. Успех был полный. За вторую часть, значит, можно было быть спокойным. Мы пошли и сердечно поздравили Владимира Викторовича. Он был вполне удовлетворен.

После перерыва, упоенный успехом, Лесевич читал с еще большим подъемом, так что по окончании лекции ему устроили нечто в роде овации.

Нужно ли говорить, что «Курская Газета» дала подробнейший отчет, чем и объясняется то обстоятельство, что от орловских приятелей я получил просьбу — «привезти Лесевича». Последний согласился и с неменьшим успехом пожал лавры и в Орле. Хотя Владимир Викторович оказался великолепным лектором, но все же я был поражен, что провинциальный обыватель с редким интересом слушал лекцию о... философии! Полагаю, что виновником был лектор—и только он. Распрощавшись с Владимиром Викторовичем, возвратился в Курск. Здесь через некоторое время стал довольно серьезно наклевываться вопрос о приобретении «Курской Газеты», право на издание которой имела некая вдова. За это взялся милейший человек, служивший в сельскохозяйственном отделении управы, Н. А. Михайлов. Большим его недостатком был неудержимый идеализм. С одной стороны, это заражало меня, внушало веру в дело, а с другой — сплошь да рядом являлось жестоким разочарованием. Но об этом ниже. Сейчас же скажу, что Михайлов вел энергичные и успешные переговоры со вдовою и на вопрос о деньгах уверенно отвечал: «Да, деньги будут». Я обратился тогда к целому ряду своих знакомых, и все обещали оказать ту или иную поддержку. Между прочим М. В. Сабашников писал мне: «Но нет ли опасности с другой стороны? Как вы себя гарантировали от недоразумений с издательницей, и нет ли здесь подводного камня, грозящего крушением в будущем? Если это не тайна, то я просил бы сообщить мне, в чем заключается условие с издательницей и как оно оформлено. Интересно было бы также знать и других пайщиков. Спрашиваю все это исключительно из интереса к делу, нисколько не ставя в зависимость от этого свое участие. Напротив, при сем же посылаю вам свои два пая. Кроме того, жена хотела бы тоже внести от себя пай, а потому, если не встретится препятствий, то будьте добры внести в редакцию прилагаемые триста рублей (2 пая моих и 1 на имя С. Я. Сабашниковой)».

Большую поддержку и горячее сочувствие «Курская Газета» получила от кн. П. Д. Долгорукова. В общем, однако, не могло быть и речи о гарантировании существования органа одними лишь подачками да совершенно сомнительными «паями». Что касается подписки и, главное,— объявлений, то рассчитывать можно было спустя продолжительное время, когда выяснится прочность газеты. Литературными, почти бесплатными силами мы были в значительной степени обеспечены. Между прочим, членом редакции согласился быть такой высокообразованный жизнерадостный человек и талантливый журналист, как статистик Евгений Алексеевич Звягинцев, давно уже сотрудничавший преимущественно в педагогических журналах, как «Вестник Воспитания» и др. Михайлов все торопил меня, чтобы я воспользовался своими широкими литературными связями, но я, помня инцидент с «Орловским Вестником», твердо стоял на той точке зрения, что обращусь к писателям тогда, когда получу гарантии, что буду хоть неофициальным, по фактическим редактором, под названием — для властей — «соредактора» газеты, а во-вторых, когда последняя окрепнет экономически, т. е. будет иметь на первое время хотя бы обеспечение на правильный ежедневный выход. Для этого мне необходимо иметь письменное удостоверение от него, Михайлова, как о передаче им мне соредакторства, так и его заверение, что, в случае мне удастся сделать заем, последний им, Михайловым, обеспечивается возвращением в назначенный срок. Накануне нового 1898 г., именно 31 декабря 1897 г., Иосиф Антонович прислал мне такого рода письменное заявление:

Многоуважаемый Иван Петрович!

Не откажите принять ближайшее участие в ведении «Курской Газеты» в качестве неофициального соредактора. Так как, согласно договору с издательницей, я буду заведывать изданием газеты в течение 9 лет и она не имеет права (и, как вам известно, и возможности) раньше истечения 9-летнего срока отказаться от моих услуг, то вы можете считать себя обеспеченным на этот срок, так как лично во мне вы можете быть вполне уверены. Я прошу вас постараться привлечь к сотрудничеству в газете лиц, которых участие по вашему мнению будет желательно.

Теперь о финансах. Как вам известно, на первых порах при самом экономном ведении дела придется испытывать значительные затруднения в денежном отношении, но в будущем, я уверен, дело наше окрепнет, и мы получим возможность по-

крыть все обязательства, принятые на себя в первый тяжелый год. Поэтому, если вам представится возможность достать денег на срок не менее 1—$1\frac{1}{2}$ года, можете смело ручаться за исправную уплату.

Желаю всего хорошего и весело встретить новый год.

П. Михайлов.

Это удостоверение прислано было мне, когда газета уже выходила. П. А. Михайлов, со свойственным ему пылом, и квартиру нанял, и условие заключил с типографиею на те совершенно нищенские средства, которые внесли несколько пайщиков.

По редкому совпадению помещение для газеты найдено было не только на той Фроловской улице, на которой я нашел себе случайно приют в первый невольный приезд в Курск, а даже у той же хозяйки Вязмитиновой, но только не во флигеле, где я проживал, а во 2-м этаже каменного дома. Последний построен был, вероятно, при основании Курска, а так как хозяйка была бедна, как церковная мышь, то он с незапамятных времен и не ремонтировался. Где была штукатурка, там она обвалилась, где обои,— они были грязны до невероятности, во многих местах оборваны и висели клочьями. Всюду было сыро, неуютно, а отсутствие средств на приобретение в достаточном количестве топлива было причиною более чем чувствительного холода, доходившего до того, что на окне замерзали чернила, руки при писании зябли, и работали мы в пальто. Но горели мы таким пылом, придавали нашему органу такое «всероссийское» значение, — хотя читателей было не более 100 человек,—что почти не замечали нашей убогой, жалкой обстановки.

Словом, для оппозиционной прессы было широкое поле деятельности, и, быть-может, «Курская Газета» как-нибудь вышла бы из экономической беды. Но на пути стояла непреодолимая политическая преграда в виде цензуры и губернатора Милютина. Последний, узнав, что редакция, во главе со мною, стоит за «третий элемент», пришел в бешенство и стал прямо издеваться над нами. Бедному Михайлову, например, несколько раз в глубокие ночи приходилось отправляться на вокзал, где пьянствовал Милютин, и ждать по нескольку часов, до рассвета, покуда последний не разрешит к выпуску номера, которого почему-либо не желал разрешать цензор.

Было бы трудно привести все издевательства над нашим бедным органом, да и слишком много пришлось бы приводить

мелких примеров, а потому ограничусь лишь некоторою общею характеристикою цензурных дел мастеров вообще и губернатора в особенности.

Собственно говоря, цензоров было у нашей газеты три: губернатор, вице-губернатор и редактор местных «Губернских Ведомостей», кажется, Вержбицкий.

Он был главный наш враг потому, во-первых, что стремился загубить нашу газету, видя в ней конкурента своим «Губернским Ведомостям», и потому, во-вторых, что терпеть не мог нашего органа за его «светское» направление, радикально противоположное «Губернским Ведомостям», в которых сплошь и рядом, вместо передовых статей, печатались молитвы и акафисты, сочиненные самим Вержбицким.

Наконец, редактор «Губернских Ведомостей» принадлежал к числу «литераторов» так сказать «по назначению».

Ранее он был житомирским полицмейстером, и тамошний губернатор, по донесениям и рапортам Вержбицкого, узрел литературный талант у своего полицианта, вследствие чего в Курске он и был определен руководителем официальной прессы. Можете себе представить, что пришлось испытать «Курской Газете» при таком составе наблюдателей за нею!

Губернатор, например, не разрешал печатать агентских телеграмм, если в них сообщались благоприятные сведения о Дрейфусе, которого судили тогда нечестивые судьи Франции!

Когда умер Гладстон, редакция долгое время не могла поместить о нем ни одной статьи, так как цензор уродовал их. Помню, что первая статья не могла быть пущена вследствие такого, на первый взгляд, ничтожного изменения. Статья, кажется, начиналась так: «Гладстон был величайший человек»... Цензор уничтожил одно лишь слово «величайший», и осталось: «Гладстон был... человек». Пришлось слово «величайший» заменить каким-то другим, которое тоже было похерено. И так, если не отказывает память, раза три статья о Гладстоне побывала у цензора, покуда удалось ее напечатать.

Сплошь и рядом редакция посылала цензору материал на два и даже на три номера, и далеко не всегда удавалось получить обратно разрешенные статьи, хотя бы на один номер, не говоря уже о таком издевательстве, что цензоры, занятые ужинами, бывало, чуть не до зари задерживали материал.

Вести газету при таких условиях была одна мука.

А тут власти наседали на нашу семью со всех сторон. Хотя «дело» жены кончилось в конце-концов лишь гласным надзором, но политическое положение ее и ее семейства было

таково, что даже ксендз, когда умерла сестра ее, Леонарда Николаевна, чудная девушка, с 15 лет попавшая в ссылку, как я писал в первой части моих воспоминаний, не желал ее хоронить! Для жены моей это, собственно говоря, было совершенно безразлично, но для глубокой старушки-матери, которую обожали дочери и которая была страшно религиозна, грубый выпад ксендза был ужасен, и Валерия Николаевна вынуждена была послать министру внутренних дел такого содержания жалобу:

«В виду того, что настоятель католической церкви, отказываясь хоронить мою сестру, Леонарду, заявил, что и другую сестру, Елену, тоже не станет хоронить, позволяю себе обратиться к вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой сделать зависящее распоряжение, чтобы духовенство не делало препятствий к исполнению требуемых церковью обрядов, что избавило бы близких мне людей от тех горьких минут, какие пережила во время погребения сестры моя бедная восьмидесятилетняя мать, и без того убитая горем».

Смешно, но это факт, от которого несет каким-то средневековьем. Не помню уже, что ответил на эту жалобу министр, но более чем уверен, что он оставил дело без последствий, представив ксендза к награде, если это было в его власти.

В то же время на меня явственно надвигалась гроза. Предвещающие молнии я наблюдал в управе, главным образом у председателя Полянского. Все чаще и чаще стал он предлагать мне один и тот же надоедливый вопрос:

— Скажите, пожалуйста, где вы ваших статистиков нашли?

— А что?

— Да кто они такие?

— Николай Александрович, ведь прежде чем принять когонибудь, я передаю прошение управе...

— Да что из этого? Мы их не знаем, а я смотрю в конце прошения: имеется ваша рекомендательная резолюция—значит принять, и фамилии даже не читаю...

— Это, конечно, печально...

— А что мне фамилия скажет?

— Но потом же вы шлете на утверждение губернатора..

— А в канцелярии губернатора то же, что у нас; видят подпись управы и подмахивают...

— Ну, не совсем так. Вероятно, у жандармов справляются... Но в чем же все-таки дело?

— Да, говоря между нами,—осматриваясь и понижая голос, заканчивал председатель,—ежедневно осведомляются...

Кто осведомляется, я должен был понимать.

Но нечего было закрывать глаза,—были все признаки, что из Курского земства меня выживут. Особенно тяжело мне было за жену. Фанатическая поклонница всеобщего обучения, она, в качестве помощницы моей в столе по народному образованию, организовала прекрасное справочно-педагогическое бюро, сыгравшее очень видную роль в деле просвещения в связи с изданным мною сборником.

Но прежде чем разразилась буря, мне пришлось неожиданно пожать лавры в Киеве.

Летом 1898 г. я получил такого рода предложение:

Милостивый государь Иван Петрович.

С высочайшего его императорского величества соизволения, последовавшаго 29 августа 1897 г., имеет быть в Киеве с 21 по 30 августа 1898 г. X Съезд русских естествоиспытателей и врачей. Уведомляя вас об этом, распорядительный комитет X-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей покорнейше просит вас почтить съезд своим присутствием.

Для успешной организации Съезда комитету необходимо знать заранее, на какое число членов съезда он может рассчитывать, а потому комитет обращается к вам с покорнейшей просьбой известить его не позже 31 мая о намерении вашем принять участие в съезде и одновременно сообщить ему точный ваш адрес, а также обозначить секцию, в которую вы намерены записаться, и сообщения, какие вам угодно будет сделать в заседаниях съезда. Немедленно по получении вашего заявления и внесении 3 руб. членского взноса, комитет сочтет своим долгом выслать вам билет на звание члена Съезда.

Для доставления возможности наибольшему числу лиц принять участие в Съезде комитет ходатайствовал пред гг. попечителями учебных округов, начальством учебных заведений министерств военного, морского, земледелия и государственных имуществ и перед ведомствами духовным и императрицы Марии о возможном содействии лицам, которые пожелают участвовать в Съезде, и принял меры, чтобы приготовить удешевленное помещение для приезжих членов Съезда, а также доставить им возможность широко воспользоваться пребыванием в Киеве для осмотра местных достопримечательностей, коллекций, лабораторий и пр.

Ходатайство распорядительного комитета о предоставлении членам Съезда льгот по проезду по железным дорогам отклонено Департаментом железнодорожных дел.

Правила Съезда, личный состав распорядительного комитета и постановления его касательно распределения занятий Съезда при сем препровождаются.

Председатель распорядительного комитета,
заслуженный ординарный профессор Н. Бунге.
Делопроизводители: профессор С. Реформатский.
профессор Г. де-Метц.

С большой радостью ехал я почти в родной мне город, где прошли лучшие годы моей юности, как то описано в I части моих воспоминаний. Но, увы, почти никого из моих знакомых уже не было. Из профессоров моего времени мне удалось побывать лишь у В. Б. Антоновича. Сам Киев, красивейший из русских городов, в котором я не был ровно 20 лет, произвел на меня чарующее впечатление. На съезде я выступил с большим докладом по народному образованию, основываясь на данных своего сборника «Народное начальное образование в Курской губернии, с диаграммами и картограммою». Не ждано, не гадано пресса дала об этом докладе в связи со сборником самые лестные отзывы.

Возвратился я в Курск ободренный и даже возбужденный неожиданным успехом. Но очень скоро весь этот пыл пропал. С каждым днем очевиднее и очевиднее вырисовывалась предо мною могила, которую рыла администрация. Это было тем более тяжело, что тем же занималась и цензура. Так из «Вестника Воспитания» в это время получил я письмо такого содержания:

Глубокоуважаемый Иван Петрович!

Юлия Алексеевича[1] в Москве еще нет, а потому вместо него пишу вам я.

Редакция ознакомилась с вашей статьей и нашла ее превосходной. Но мы не имеем никакой надежды на то, что цензура пропустит вторую половину вашей статьи. Переделывать же статью сообразно требованиям московской цензуры — значит испортить вашу работу. Лучше действительно попытать счастья в Петербурге.

[1] Бунина.

Итак, глубокоуважаемый Иван Петрович, вот какая история выходит... Уверены мы, что она нисколько не отразится на ваших добрых отношениях к редакции, которая надеется получить от вас в близком будущем новую статью. Ваше сотрудничество очень для нас ценно.

Искренно уважающий вас Е. Синицкий.

И из «Русских Ведомостей» участились краткие открытки в ответ на запросы, что «по цензурным условиям» то одна, то другая статья, или рассказ, или корреспонденция напечатаны быть не могут. Шел, значит, уже вопрос о куске хлеба, если меня отстранят от земства. Но это именно и произошло.

Хотя меня и утвердили, но, конечно, из Орла вслед за мной явилась и подлежащая аттестация, с одной стороны, о моем политическом «прошлом», а с другой — присоединилась еще и литературная аттестация в виде, главным образом, сотрудничества в «Русских Ведомостях», а с третьей — совершенно неблагонадежный состав статистического бюро, которым я заведывал.

На это последнее обстоятельство указал мне сам губернатор Милютин, родной сын знаменитого Милютина-министра, совершенно не похожий на своего отца. Это был горчайший пьяница, форменный алкоголик. Полицмейстер каждую ночь ездил «разыскивать» владыку губернии, кутившего в гостиницах, ресторанах и больше всего в «царских комнатах» на вокзале. Бывали случаи, когда находили его превосходительство валяющимся на улице. Каждое утро перед приемом посетителей и чиновников он вынужден был отрезвляться в ванне, чтобы не шататься.

Неожиданное и крайне неприятное знакомство мое с ним произошло при следующих обстоятельствах.

В сессии губернского земского собрания 1898 года гласные Курского губернского земства В. Е. Якушкин и кн. Петр Долгоруков по секрету сообщили мне, что председатель управы в закрытом совещании передал, что губернатор секретно требует немедленного моего отстранения от какой бы то ни было службы в земстве, при чем желает, чтобы удалило меня само земство по своей якобы инициативе.

В. Е. Якушкин добавил при этом, что решительно все гласные протестуют, но управа, считающаяся состоящей на государственной службе, поставлена в крайне щекотливое положение и не знает, что ей делать.

На другой день после этого сообщения вызывает меня председатель и говорит:

— Я, Иван Петрович, нахожусь в самом тяжелом положении... Я не могу вам сообщить одного секретного требования, для меня обязательного.

— Я его знаю...

— Ну, и отлично... Не я, значит, вам его передал...

— Нет, не вы.

Председатель ехидно улыбнулся и продолжал:

— Так вот что, я полагаю, надо сделать. Отправляйтесь вы к Милютину и заявите, что управа по неизвестным вам причинам отстраняет вас от службы, и вы вот пришли узнать, в чем дело. А когда он вам скажет, вы все ему и объясните... Это единственный выход.

К Милютину мне не хотелось итти еще больше, чем в Орле к Шидловскому.

Но гласные уговорили меня, и я пошел.

Губернатор, с красным бритым круглым лицом и с оловянным пьяным взглядом, встретил меня прямо-таки свирепо. На мой вопрос, за что меня удаляют, Милютин моментально побагровел и крикнул:

— Вы не знаете, за что вас удаляют?! А те революционеры, которыми набили ваше бюро?

— Какие «революционеры»?

— А Лосицкий, а Авилов и Руднев, а Башмачников... не знаете?

— Но ведь это все студенты Московского университета...

— Студенты? И сейчас они студенты? Их не удалили из университета?. А-а?!

— Но все они утверждены...

— Утверждены?!.. Я знаю вашу тактику, знаю!.. Вы подсовываете нам революционеров, чтобы мы их не утверждали, а потом компрометируете нас в газетах, что вот, мол, деспоты какие,— не утверждают?!.. Знаю! Да, я их утвердил, чтобы лишить вас возможности писать в газетах... А вас вот удаляют... Как вы осмелились являться ко мне за объяснениями?

— Я просил бы вас понизить ваш тон. Я ведь не подчиненный...

— Еще чего недоставало?!

Я повернулся и ушел. А Милютин вслед мне приговаривал:

— Субъект!.. Нечего сказать!..

Провал был полный.

Когда я передал мою «беседу» с губернатором, и управа, и гласные порекомендовали мне немедленно ехать в Петербург и там жаловаться, при чем председатель управы заявил, что и

сам он кому-то еще напишет, а кн. П. Д. Долгоруков дал рекомендацию к графу Петру Александровичу Гейдену, знавшему тогдашнего директора Департамента полиции Зволянского.

Следует заметить, что, как выше было сказано, в 1895 году я получил право жительства в Петербурге, следовательно, мог свободно отправиться в столицу.

Я так и сделал.

Граф Гейден принял меня более чем любезно и просил подробно сообщить ему суть дела.

Я тотчас же исполнил его желание.

С редким вниманием выслушал мое сообщение Петр Александрович.

Относительно директора департамента, к которому я должен был отправиться, граф Гейден сказал, что знает его еще в то время, когда он состоял чиновником при Саратовском, кажется, окружном суде или судебной палате (я не помню, какой окружной суд или судебную палату назвал Петр Александрович).

— Но,— прибавил затем граф Гейден, — теперь он ведь шишка. А знаете, как изменяется лицо с положением, особенно служащее по полицейской части. Я, конечно, с удовольствием дам вам рекомендацию, но, однако, за последствия поручиться не могу. Ведь все это, говоря между нами, отчаянная сволочь.

И тут Петр Александрович, сильно заикаясь от волнения, прибавил еще такое слово, что я не считаю возможным его привести.

В приемный день я с визитной карточкой от графа Гейдена отправился в Департамент полиции.

Несомненно, она оказала свое действие: директор принял меня довольно скоро, встретил любезно и предложил сесть в кресло у его большого письменного стола.

Началась беседа.

— Чем могу быть полезен?

Я рассказал, в чем дело.

— Видите ли,—медленно заговорил он, перелистывая лежавшую перед ним толстую папку,—против вас вооружена местная администрация.

— Я в этом убедился, когда перед отъездом отправился к курскому губернатору...

— Ну, вот...

— Да, но должны же существовать какие-либо гарантии от «вооружения» местной администрации?..

— Но ваше прошлое...

— До каких же, однако, пор будет тяготеть надо мной это «прошлое», созданное при том властями же? Ведь, раз я был утвержден, значит...

— Это ничего не значит...

— Странно...

— Мы не замечаем никаких изменений в ваших политических взглядах, в отношении к правительству...

— Какие же у вас имеются факты?

— Да вот хотя бы состав вашего бюро...

— Но все они утверждены...

Директор ничего на это не ответил, начал вчитываться в бумаги в папке и через некоторое время сказал:

— Ну, вот, например, Башмачников...

— Башмачников! — воскликнул я, зная последнего за самого безобидного человека,— а что Башмачников?

— Ведь он привлекался по делу «Народного Права»...

— Но ведь он также утвержден...

Директор порылся в бумагах.

— Да, — смущенно произнес он.

— Так в чем же дело?

— Должен вам сказать, что, собственно говоря, ваше дело всецело зависит от министра внутренних дел, к которому и рекомендую обратиться.

Я расширил глаза от неожиданности такого заявления.

Но директор, сообщив день приема у министра, дал понять, что аудиенция кончена.

Он поднялся с кресла и протянул мне руку.

Оставалось только уйти.

Если мне не отказывает память, то у министра прием был на другой день. Я решил испить чашу до дна и направился к Горемыкину.

— Ваше прошение, — встретил меня дежурный чиновник.

— Никакого прошения у меня нет.

— Но как же? Без прошения нельзя...

— А лично изложить свое дело не могу?

— Помилуйте, столько просителей, разве может министр запомнить? Да, наконец, и не принято. Вы здесь можете написать.

— Но что же я напишу?..

— Просьбу.

— У меня нет просьбы, а жалоба.

— Ну, жалобу... Вы в нескольких словах.

Нечего делать, — сел я за стол и набросал несколько строк своим убийственным почерком.

Вхожу с этим прошением в приемную залу.

Стоят все просители полукругом и ждут.

Народу видимо-невидимо. Мне показалось, что ждать пришлось очень долго.

Наконец, появился министр. Среднего роста сутуловатый старик с длинными лакейскими бакенбардами и неприветливым тупым взглядом.

С каким-то чиновником он стал обходить просителей, брать от них прошения и передавать чиновнику.

Наконец, подошел и ко мне, протянул руку за прошением. Я его придержал, словно бы министр хотел вырвать его у меня.

Горемыкин удивленно посмотрел на меня, что мне и надо было.

— Здесь, в прошении, ничего нет, — сказал я ему.

— Но, но что вам угодно?

— Я удален из Курского земства.

— Ваша фамилия?

Я назвал.

— Кто вас удалил?

— Не знаю.

— Но по какому делу: по уголовному или политическому?

— С какой стати я обращался бы к вам, если бы в моем деле была замешана какая-нибудь уголовщина?

— А если по политическому, то это дело Департамента полиции.

— Повторяю, что я не знаю, за что удален, но, вероятно, по каким-либо политическим мотивам.

— В департамент, в департамент...

— Но меня директор департамента к вам направил.

Горемыкин уже не слушал меня и подошел к соседу. А я стоял дурак-дураком, не зная, что делать.

По окончании приема подходит ко мне дежурный чиновник и спрашивает:

— Вам министр сказал, кажется, чтобы обратиться в Департамент полиции?

— Да.

— Так директор департамента скоро приедет к нему с докладом, — вы вот и скажите ему.

— А как же я его увижу?

— Да он здесь вот и будет проходить.

— Можно, значит, подождать?

— Конечно.

Я поблагодарил чиновника и остался ждать директора. Действительно, он скоро явился. Пересекаю ему дорогу и сообщаю что мне сказал министр.

— Это он так себе сказал,—буркнул директор и быстро скрылся в кабинет министра.

А я, обозленный всей этой комедией, ушел и прямо направился к Гейдену.

Когда я ему рассказал про мои похождения, он разразился по адресу и министра, и департамента самыми жестокими словами и, сильно заикаясь от волнения, продолжал:

— Знаете, словно бы их обязанность насаждать революционеров!.. Ведь сам ангел уйдет от них дьяволом! Да что ж это такое? Куда они ведут страну? Вед это полнейший произвол, издевательство над человеческой личностью! И еще жалуются на крамолу! Да кто же ее разводит, как не сами они?!.

Сверкая своими выразительными глазами, пощипывая длинную, узкую седую бородку, он нервно заходил по комнате, и после небольшой паузы, как бы что-то припоминая, бросал отдельные фразы: «Закрыли Комитет грамотности»... «Душат земство»... «Не дают никому жить»... «Что им родина?» «Ну, и дождутся, непременно дождутся!» «Сами рубят сук, на котором сидят».

Он сел в кресло, скрючил свое худое, сухое тело, словно бы на него навалилась какая-то тяжесть, и усталым голосом спросил меня:

— Что же вы теперь думаете делать?

— Плюнуть на все и заняться литературой. В сущности говоря, я принципиально проделал все эти мытарства... Мне хотелось узнать, чего я достигну, стоя на совершенно легальном пути, не совершая никакого преступления, исполняя все советы, которые мне давали.

— Да, урок превосходный! Вы хорошо делаете,—действительно плюньте на все... Раз приходится служить не земству, а департаменту или министру, то, понятно, остается плюнуть... Если можете, то оставайтесь в Петербурге: по нынешнему времени это самое лучшее...

— Я так и думаю поступить, при чем, если устроюсь здесь сносно, перевезу и семью.

— Прекрасно. Надеюсь, что наше знакомство будет продолжаться?

— Если только вы позволите.

— Я вас крепко прошу не забывать меня.

Я искренно поблагодарил Петра Александровича, который произвел на меня и теперь чарующее впечатление.

Вскоре после этого я переехал из Курска в Петербург, поселился в общем тогда пристанище неоперившихся писателей «Пале-Рояле» на Пушкинской, исключительно занялся литературой и не помышлял уже о земстве, считая его совершенно запрещенным для меня плодом.

Окна моей комнаты выходили во двор, изображающий узкий колодезь, темный и вонючий. В номере царила вечная тьма, вследствие чего с утра до ночи горело электричество, которое я прямо возненавидел. Если бы не работа, я, кажется, прямо с постели бежал бы куда глаза глядят и не возвращался до ночи. С каким восторгом вспоминал я провинциальный простор, свою квартиру с громадным садом при ней. Кажется, лишь один Южаков, с незапамятных времен живший на самом верхнем этаже, чувствовал себя, как рыба в воде. По крайней мере, он смеялся над моим «провинциализмом». В бель-этаже проживал Станюкевич. Я, проклиная «Пале-Рояль», стремился работать в прессе.

Помимо этого я, конечно, сотрудничал в «Русских Ведомостях», в «Русской Школе», редактируемой Я. Г. Гуревичем, «Образовании», выходившим под редакцией А. Я. Острогорского, и «Русском Богатстве». Эта литературная работа обеспечивала мою столичную жизнь и давала возможность высылать на жизнь семье в Курске.

В свободное время, что бывало только поздним вечером, я посещал в определенные дни jour fix'ы в «Русском Богатстве», четверги у Н. А. Рубакина, а по пятницам никогда не пропускал прекрасных «своих» вечеров в помещении «Союза русских писателей» на Невском проспекте, в д. 65, кв. 7.

Это было замечательное учреждение, благотворная деятельность которого дала бы неоцененные результаты для русской литературы, если бы не ничтожное трусливое правительство, прекратившее существование Союза очень скоро после его возникновения.

На нем нельзя не остановиться. По уставу цели Союза были таковы: а) объединение русских писателей на почве их профессиональных интересов для установления постоянного между ними общения и охранения добрых нравов среди деятелей печати; б) посредничество между автором, сотрудниками периодических изданий и переводчиками, с одной стороны, издателями и редакторами, с другой, как в отношении спроса и предложения труда, так и для рассмотрения их взаимных недоразумений и споров в случае возникновения таковых; в) посредничество и рассмотрение

личных споров и недоразумений, возникающих в печати между членами Союза, а также между ними и посторонними лицами; г) представительство на русских и иностранных съездах и в других случаях, когда Союз признает это нужным, совместно с Русским литературным обществом или независимо от него; д) ходатайства перед правительственными и общественными учреждениями по предметам, касающимся литературной профессии и ее отдельных представителей; е) ходатайство и посредничество перед учреждениями и обществами, ведающими помощь писателям и их семействам, а также содействие этим учреждениям в видах объединения и развития их деятельности; ж) материальную помощь своим сочленам в тех формах, которые будут признаны целесообразными.

Для достижения вышеизложенных целей Союза предоставляется:

а) собираться в собрания для обсуждения докладов и соображений по предметам профессионального интереса, а также для решения всех дел, касающихся Союза;

б) устраивать бюро справок по предмету спроса и предложения литературного труда;

в) учреждать кассы пенсионные, страхования и взаимопомощи, санатории-приюты для престарелых и хронически больных писателей, потребительные товарищества и т. п., с разрешения подлежащей власти;

г) выдавать из оборотных своих средств единовременные пособия и ссуды своим членам;

д) устраивать литературные вечера, концерты и чтения.

е) принимать поручения от членов общества и органов печати по делам, касающимся их профессиональных интересов, и ходатайствовать по оным в правительственных и общественных учреждениях;

ж) иметь суд чести, действующий по правилам, указанным ниже;

з) выпускать в свет печатные издания и сборники, а также издавать периодический орган, с соблюдением действующих цензурных правил;

и) иметь свою библиотеку и читальню, с соблюдением правил, установленных для публичных библиотек;

к) приобретать для своих надобностей, а также по дарениям и завещаниям, или отчуждать недвижимую собственность для целей общества;

л) созывать с надлежащего разрешения съезды деятелей печати;

м) принимать меры и изыскивать средства к охранению могил и памятников писателей;

н) иметь свою печать.

Во II главе, о «Составе Союза», говорилось, что «членами Союза могут быть без различия направления лица, заявившие себя трудами в области литературы, науки и периодической печати и состоящие постоянными сотрудниками этих последних».

Делами Союза, согласно IV главе, ведают: а) общие собрания, б) комитет, состоящий из 12 членов с 4 кандидатами к ним, в) суд чести, состоящий из 7 лиц с 2 кандидатами к ним, и г) ревизионная комиссия из 5 лиц с 2 кандидатами к ним.

Что касается членов Союза, то таковыми состояли, собственно говоря, все писатели, как столичные, так и выдающиеся провинциальные. Таким образом я, в качестве члена Союза, имел возможность не только видеть, но познакомиться и даже сблизиться со всеми всероссийскими, можно сказать, представителями литературы и науки. Нужно ли говорить, что это доставляло мне высокое удовольствие.

Считаю нужным сказать несколько слов о причинах, давших возможность возникнуть Союзу в самый жестокий момент российской реакции. С 15 октября 1895 г хозяином несчастной русской печати сделался известный уже нам, назначенный министром внутренних дел, Иван Логгинович Горемыкин, которому, говорят, великий князь, поэт, посвятил такое двустишие:

Горе мыкали мы раньше,
Горе мыкаем теперь —

потому что Горемыкин вторично в 1895 г. занял пост министра внутренних дел, что отдавало в его руки печать. А заведывать последнею он поручил сотруднику «Московских Ведомостей» — Михаилу Петровичу Соловьеву, откровеннейшему врагу свободного слова и его представителей. А он-то и утвердил устав Союза.

— Чем это объяснить? — спросил я Лесевича.

— А вот...

Владимир Викторович достал устав и сказал:

— Вчитайтесь в оглавление.

— Ну, что же: «Устав взаимопомощи русских писателей» при «Русском литературном обществе».

— Здесь вот и зарыта собака.

— Где — «здесь»?

— В четырех словах: «при Русском литературном обществе».

— Не понимаю.

— Дело в том, что это общество пользуется неограниченным доверием властей, а Союз лишь состоит при нем. Раскройте далее 9 страницу и читайте главу VI Устава: «Комитет».

Читаю вслух: «Из числа 12 членов комитета 6 избираются из членов Союза, состоящих единовременно и членами Русского литературного общества. Из кандидатов к членам комитета 2 избираются из числа состоящих членами Русского литературного общества»...

— Довольно. Понимаете теперь?

— Значит, во главе Союза стоит собственно Русское литературное общество?

— Да, и при его посредстве есть мысль—приручить, так сказать, такого дикого зверя, как русское слово, сделать его домашнею скотиною.

— Вот оно что! Но ведь это не удастся же!

— Не удастся! Ну, тогда «сарынь на кичку!»—как кричал Стенька Разин и его сподвижники. Тогда Союз прихлопнут.

— А до тех пор?

— Покуда что все идет гладко —друг друга «не замаем»...

— А кто такой председатель Союза—Исаков?

— Мало известный экономист, но весьма известный по происхождению и служебному положению: сын генерала и сам—действительный статский советник.

— Ого!

— Не шутите. Должен, однако, заметить, что ведет он себя безукоризненно корректно и покуда что никакого опасения не внушает.

Возвращаюсь к «пятницам».

В этот день я с Лесевичем обязательно отправлялся в Союз, при чем встречал всегда на вечерах не только всех знаменитых писателей и ученых, бывших в Петербурге, но и другие всероссийские светила, как артисты, певцы, пианисты и т. п. Все они стремились заручиться содействием прессы, проявляли свои таланты. Но самый важный интерес пятниц заключался в докладах. В памяти моей особенно врезались доклады «О литературной конвенции» и «О нуждах русской печати». Затем, помню, в мае 1898 г. с большим подъемом прошло торжественное заседание по случаю пятидесятилетия со дня смерти В. Г. Белинского. Оно состоялось в помещении городской думы, так как наш зал не мог вместить всей массы собравшихся на заседание.

В период моего пребывания в Петербурге главную роль в Союзе играли редакция и сотрудники журнала «Русское Богатство». Редакция тогда состояла из таких лиц, как Михайловский, Короленко, Мякотин. Особенно велика была роль последнего, как выдающегося оратора. Всякого рода резолюции после докладов, предлагавшиеся редакцией и защищаемые Венедиктом Александровичем Мякотиным, проходили с большим успехом.

В марте-апреле на целом ряде общих собраний обсуждался доклад комиссии по организации съезда и по разработке проектов положения и программ съезда русских писателей. Но в этом министерство внутренних дел усмотрело уже опасность для отечества и хотело показать, что оно не признает Союз учреждением, могущим задаваться такими широкими и, конечно уж, опасными задачами, как — страшно сказать — съезд писателей,

Чтобы не возвращаться к Союзу, сообщу здесь о событиях, происшедших после оставления мною Петербурга.

В 1900 г. жизнь в Союзе шла еще оживленнее. В этом году вместо Исакова председателем был избран известный поэт Вейнберг. Это обозначало победу Союза над Русским литературным обществом.

В марте 1901 г. Вейнберг ошарашил меня письмом следующего содержания:

Искренно уважаемый Иван Петрович.

Союз закрыт министром внутренних дел (а не градоначальником, как сообщено в «Правительственном Вестнике»). В бумаге министра не приведено никакого мотива, а в сообщении «Правительственного Вестника», как вы знаете, указана 42 ст. устава. Но это совершенно произвольно: никаких «беспорядков» и «нарушений устава» не было, и мы подаем на этих днях жалобу в сенат. Поводом к закрытию Союза (до него, видно, давно добирались) было то, что мы подали министру внутренних дел просьбу расследовать дело об избиении Анненского и Пешехонова как членов Союза (следовательно, мы стояли на вполне легальной почве, на основании ст. 1-й и др. устава) и при этом просили снять с печати запрет писать о теперешних беспорядках, в убеждении, что этим будем способствовать в очень значительной степени возможности печати «спокойно и свободно» обсуждать эти события. Говорят «сведущие люди», что здесь сыграло главную роль, вероятно, известное «письмо в редакцию» за подписью 44 писателей, но и это, если оно так, — повод произвольный, ибо письмо было не от Союза, а от отдельных лиц. Анненский получил на Казанской площади такой удар по лицу от городового,

что только теперь начинает заживать у него сильно вспухшая окружность глаза; затем повален на землю. Пешехонова столкнули в спину с паперти Казанского собора, но он, к счастью, не пострадал физически. Струве получил легкий удар в ногу, он арестован, но вчера, кажется, его должны были выпустить. Туган-Барановский сидит. Агафонов выпущен. Это о членах Союза. Остальных арестованных тоже мало-по-малу выпускают, но приглашают немедленно уехать... Мрачно, невыносимо тяжело; нервы истерзаны до мучительной боли».

По горло занятый литературными работами, я в редкое свободное время посещал близкие мне редакции и приятелей в писательской среде, как В. Г. Короленко, Н. А. Рубакин, В. А. Мякотин, В. В. Лесевич, Н. Ф. Анненский, С. Я. Елпатьевский, В. И. Чарнолусский, Г. А. Фальборк; все же я, как южанин, не мог сродниться с петербургскою пронизывающею сыростью, тьмою номера, отсутствием солнца и в минуты одиночества, которых избегал всеми силами души, страшно тосковал и о жене, и о просторе провинции, и особенно о жарком горячем солнце Украины, погибшей, казалось, для меня.

Но случилось нечто совершенно неожиданное, мыслимое только в нашем отечестве.

В одно туманное утро, кажется, в декабре 1898 г., послышался осторожный стук в дверь моего темного номера.

На мой призыв «войдите», вошел одетый с иголочки блондин и отрекомендовался:

— Гордеенко, недавно избран председателем Харьковского губернского земства.

— Чем могу быть полезен? — спросил я.

— Да вот, нарочно прибыл в Петербург, чтобы пригласить вас быть секретарем управы.

— Очень вам благодарен, но я окончательно отстранен от земства.

— Это пустяки, лишь бы вы согласились, а там уж мое дело...

— Мне очень близко и дорого земское дело, я ничего не имею...

— Я могу, значит, сказать, что дело кончено у нас?

— Можете.

— Видите ли, я еще не утвержден, но, полагаю, что препятствий к этому не встретится, и вот, если только меня утвердят, я вас извещу телеграммой из Харькова, и вы прямо приезжайте, а покуда я в Петербурге, прошу заходить ко мне, и мы обо всем условимся.

После этого я раз или два был у Гордеенко, обедал у него, и дело было доведено до конца.

По отъезде председателя Харьковской губернской земской управы из Петербурга я чуть ли не до марта 1899 года не получал от него ровно никаких известий и полагал, что, вероятно, его ходатайство не увенчалось успехом, а место, предложенное мне, отдано более благонадежному лицу.

Как бы в подтверждение моей мысли, я однажды получил приглашение явиться в Департамент полиции.

Не сомневаясь, что дело идет о высылке моей из Петербурга, я перед уходом в Департамент сложил поспешно свои вещи, так как по опыту уже знал, как быстро приводятся у нас в исполнение репрессивные меры.

По дороге в это страшное учреждение я зашел к некоторым моим знакомым, чтобы предупредить их на случай быстрого моего исчезновения из столицы.

Являюсь, наконец, в Департамент и прежде всего поражаюсь быстротой приема: как только доложили обо мне директору, последний тотчас же пригласил меня в кабинет и, любезно поздоровавшись, задал мне вопрос:

— Вас приглашало Харьковское земство?

— Да.

— Почему же вы не даете вашего согласия?

— Какого согласия? Председатель Харьковской губернской управы говорил, что будет лично ходатайствовать, хотя я ему заявил, что...

— Такое ходатайство уже к нам и поступило, но мы не имеем вашего согласия. Почему вы не подаете прошения?

— Но ведь мне же запрещено служить в земстве...

— Было запрещено, а теперь вы можете... Вот напишите прошение, что, мол, желая получить место секретаря Харьковской губернской земской управы, прошу уведомить меня, не встречается ли препятствий... Ну, вы, словом, знаете...

Я удивленно сдвинул плечами и на данном листе бумаги составил в несколько строк прошение.

— Больше ничего не надо, — сказал директор, пробежав прошение, — сегодня же пойдет от нас совершенно благоприятный для вас ответ.

— Господин директор, так как опала, повидимому, с меня снята, то не можете ли вы хотя теперь сказать мне, за что же я был отстранен?

— Решительно ничего не могу сказать, — все это зависело от министра.

Наклонением головы директор поспешил дать знать, что аудиенция кончена.

И я ушел, не открыв тайны.

Из департамента я прямо направился к графу Гейдену, чтобы сообщить ему обо всем происшедшем.

И когда я ему говорил, что было со мной в департаменте, он широко раскрыл глаза и слушал с нескрываемым изумлением.

Потом расхохотался и сказал:

— Ну, вот, разберитесь в этом государственном хаосе! Как это в стихотворении Тютчева, кажется, говорится: «Умом России не понять...»

— «Аршином общим не измерить»?

— Вот-вот...

— «У ней особенная стать.
В Россию можно только верить».

— Вот именно нельзя верить! — воскликнул Гейден. — Совершенно невозможно! Кто поручится, что вас не вытурят из Харьковского земства, как вытурили из Курского?

— Конечно, нельзя поручиться.

— Так как же «можно верить»?

— Но поэт рекомендовал «верить» «в Россию», а не в Департамент полиции.

— Совершенно верно, но согласитесь, что сейчас Россия — именно Департамент полиции!

— Безусловно согласен, я ведь это в шутку поправку сделал...

— Когда же вы едете?

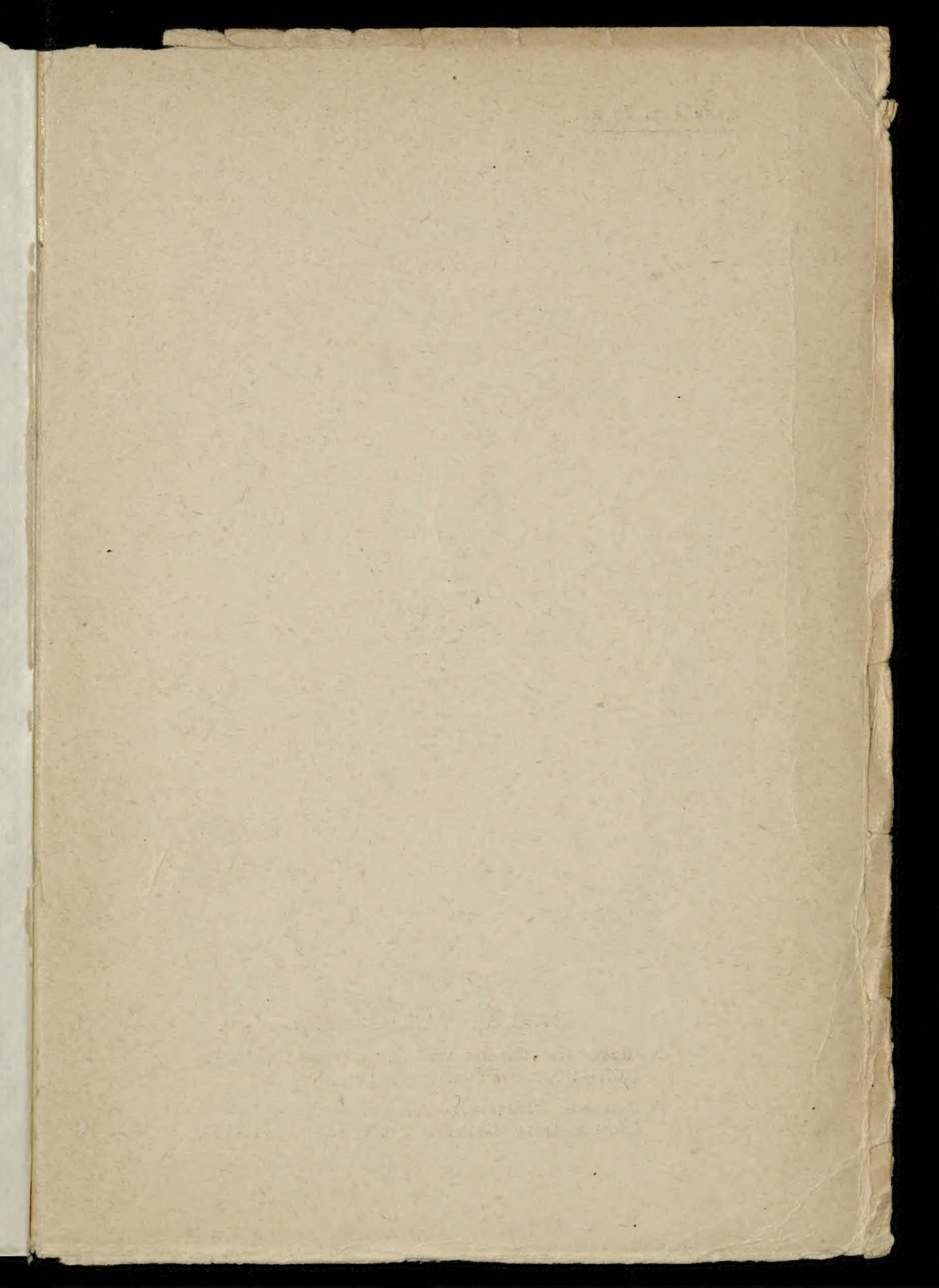
— Как только получу телеграмму из Харькова.

— Пожалуйста, перед отъездом придите, но только не на минуту, а к обеду, чтобы побеседовать как следует. Я очень рад, что вы опять будете служить в земстве. Что бы они ни делали, а земства умертвить им не придется, и оно еще покажет себя... Мы и сейчас замечаем сильное оживление в земской среде... Ведь это покуда что единственная у нас легальная общественная сила. Нужны только энергичные люди, проникнутые широко-общественными идеалами... Заходите же.

Скоро я получил телеграмму от Гордеенко и, простившись с петербургскими друзьями, включая и гр. Гейдена, с которым очень близко сошелся, уехал в Харьков.

Службу в Харькове, не сошедшись во взглядах с председателем управы, я оставил уже по собственному желанию.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ



28583

~~Цена 1 р. 70 к.~~ 2 15 к



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1) Правлению Издательства политкаторжан — Москва, ГСП,— 10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.

2) Магазину Издательства политкаторжан „Маяк" — Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.